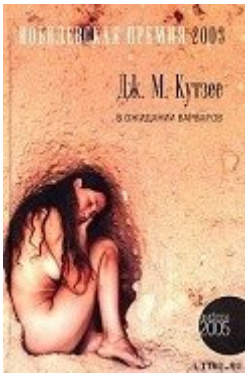

"В ожидании варваров"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Джозеф М. Кутзее

В ожидании варваров

I

Я никогда такого не видал: перед глазами у него висят два круглых стеклышка в проволочных петлях. Он что, слепой? Если бы он прятал слепые глаза, я бы еще мог понять. Но он не слепой. Стеклышки темные и снаружи кажутся непрозрачными, но он сквозь них видит. Он говорит, что это новейшее изобретение.

– Они защищают глаза от солнца,– говорит он. – В этой вашей пустыне очень помогает. Меньше щуришься. И голова реже болит. Посмотрите,– он притрагивается к уголкам глаз. – Никаких морщин. Он снова опускает стекла на место. Да, действительно. Кожа у него, как у молодого. – У нас все в таких ходят.

Мы сидим в лучшей комнате трактира, на столике между нами фляга и плошка с орехами. Причину его приезда мы не обсуждаем. Он прибыл в связи с чрезвычайным положением, этим все сказано. Мы предпочитаем говорить об охоте. Он рассказывает, как недавно выезжал на великолепную травлю: как забили тысячи оленей, кабанов, медведей, до того много, что целую гору туш пришлось так там и оставить («Хотя было жалко»). Я рассказываю о великолепных стаях перелетных гусей и уток, что каждый год опускаются на наше озеро, и описываю здешние способы охоты. Предлагаю свозить его на туземной лодке на ночную рыбную ловлю.

– Презанятнейшее зрелище, – говорю я. – Рыбаки зажигают факелы и бьют над водой в барабаны, чтобы рыба шла прямо в сеть.

Он кивает. Рассказывает о своей поездке в другую приграничную провинцию, где жители едят некоторые виды змей и считают их лакомством; а еще рассказывает, как подстрелил огромную антилопу.

Среди непривычной мебели он двигается неуверенно, но свои темные стекла не снимает. Спать он уходит рано. В трактире он остановился потому, что ничего лучше наш город предложить не может. Трактирщику и служанкам я объясняю, что он очень важная персона.

– Полковник Джолл служит в Третьем отделе, – говорю я. – А Третий отдел в наше время самое важное подразделение Гражданской Охраны.– Так, по крайней мере, утверждают сплетни, с большим запозданием доходящие до нас из столицы. Трактирщик кивает, служанки угодливо кланяются. – Мы обязаны произвести на него хорошее впечатление.

Выношу свою циновку на крепостную стену, где ночной ветерок позволяет ненадолго забыть о жаре. На плоских крышах города в лунном свете различаю силуэты спящих людей. Из-под ореховых деревьев с площади еще доносятся приглушенные голоса. В темноте рдеет, как светлячок, чья-то трубка: красная точка то тускнеет, то снова вспыхивает. Лето медленно катится к концу. Сады изнемогают под бременем плодов. В столице я не был со времен моей молодости.

Просыпаюсь до рассвета и на цыпочках спускаюсь по лестнице мимо спящих солдат: они ворочаются, вздыхают и видят во сне своих матерей и невест. Сверху на нас смотрят тысячи звезд. Воистину мы здесь живем на крыше мира. Проснешься среди ночи под открытым небом, и дух захватывает.

Часовой у ворот сидит, скрестив ноги, и крепко спит, мушкет он держит на руках, как ребенка.

Каморка привратника закрыта, его тележка стоит снаружи. Иду дальше.

– Условий для содержания заключенных у нас нет,– объясняю я.– Преступления здесь дело довольно редкое, виновные наказываются в основном штрафами или принудительными работами. Этот сарай, как видите, просто кладовка, пристроенная к амбару, где мы храним зерно.

В сарае тесно и воняет. Окон там нет. Двое задержанных лежат связанные на полу. Запах в сарае – от них, застарелый запах мочи. Зову стражника, приказываю:

– Принеси им помыться, и побыстрее.

Пропускаю гостя вперед и вслед за ним вхожу в прохладный сумрак амбара.

– В этом году надеемся собрать с общинных земель три тысячи бушелей. Сеем мы всего один раз. Последнее время погода весьма нам благоприятствует.

Мы ведем разговор о крысах и о способах сокращения их числа. Когда возвращаемся в сарай, там пахнет мокрой золой, а оба арестанта в ожидании стоят на коленях в углу. Один из них старик, другой совсем еще мальчик.

– Их поймали несколько дней назад, – говорю я.– Меньше, чем в двадцати милях отсюда, был набег. Случай необычный. Как правило, они так близко к крепости не подходят. Этих поймали уже после набега. Они утверждают, что ни при чем. Если хотите с ними побеседовать, я, разумеется, помогу вам и переведу .

Лицо у мальчика распухло, все в ссадинах, один глаз затек и не открывается. Сажусь перед ним на корточки, треплю по щеке.

– Послушай, – говорю я на приграничном диалекте, – мы хотим с тобой потолковать.

Он никак не отзывается.

– Дурачком прикидывается, – бурчит стражник.– Все ведь понимает.

– Кто его избил?

– Не я, – говорит стражник. – Его таким и привели.

– Кто тебя избил? – спрашиваю я мальчика.

Он меня не слушает. Он смотрит мимо меня, и не на стражника, а на полковника Джолла.

Я поворачиваюсь к Джоллу.

– Вероятно, он ничего подобного не видел. – И поясняю жестами:

– Я имею в виду ваши стекла. Должно быть, думает, что вы слепой.

Но Джолл на мою улыбку не отвечает. Как я догадываюсь, в присутствии арестантов полагается вести себя с известной долей официальности.

Опускаюсь на корточки перед стариком:

mir-knigi.org

– Отец, послушай меня. Тебя поймали после угона скота. Дело нешуточное, сам понимаешь. Тебя могут наказать.

Старик облизывает губы. Лицо у него серое, измученное.

– Видишь этого господина, отец? Господин приехал к нам из столицы. Он объезжает все приграничные крепости. Его работа – узнавать правду. Другой работы у него нет. Он только узнаёт правду. Если не хочешь говорить со мной, тебе придется поговорить с ним. Ты меня понял?

– Ваша милость, – хрипло произносит старик и откашливается. – Ваша милость, никакие мы не воры. Солдаты схватили нас и связали. Ни за что ни про что. Мы в город шли, нам к лекарю надо. Парнишка этот – сын моей сестры. Нарыв у него, все никак не заживает. Мы не воры. Покажи их милостям свою болячку-то.

Ловко, рукой и зубами, мальчик развязывает тряпку, намотанную выше локтя. Последние слои повязки, пропитанные засохшей кровью и гноем, прилипли к коже, но он отдирает краешек тряпки и показывает мне багровый ободок нарыва.

– Видите, – говорит старик. – Что только ни пробовали, не заживает. Я его к лекарю вел, а нас солдаты схватили. Вот и все.

Мы с моим гостем идем назад через площадь. Мимо проходят, возвращаясь с плотины, три женщины, на голове у них корзины с выстиранным бельем. Женщины с любопытством косятся на нас, но головы на напряженных шеях остаются неподвижными. Солнце палит нещадно.

– Эти двое – единственные, кого мы поймали за многие годы, – говорю я. – Просто случайность.

В другое время мы не сумели бы показать вам вообще ни одного варвара. Этот их так называемый разбой не слишком нам досаждает. Бывает, выкрадут пять-шесть овец или отобьют от каравана какого-нибудь мула. Иногда мы их за это наказываем, посылаем карательные отряды. Они ведь, в основном, из нищих племен, собственного скота у них очень мало, живут они на землях вдоль реки. Так что грабеж для них почти неотъемлемая часть жизни. Старик говорит, они с мальчиком шли к лекарю. Допускаю, что так и было. Кто возьмет старика и больного мальчишку в разбойничий налет?

Внезапно я сознаю, что защищаю их.

– Конечно, полной уверенности нет. Но даже если они лгут, какая вам от них польза – простые невежественные люди?

Я пытаюсь подавить раздражение, которое он вызывает у меня своим загадочным молчанием и дешевой театральной таинственностью темных щитков, скрывающих здоровые глаза. Ходит он, сложив руки перед грудью, как женщина.

– Тем не менее я обязан их допросить,– говорит он. – И сегодня же вечером, если не возражаете. Со мной будет мой помощник. Кроме того, мне понадобится кто-нибудь, знающий местный язык. Может быть, стражник? Он говорит на диалекте?

– Да мы все тут на нем объясняемся. Мое присутствие было бы для вас нежелательно?

– Вам будет неинтересно. Мы действуем отработанными методами.

Никаких криков из амбара я не слышу, хотя многие потом утверждают, что слышали. Занимаясь в тот вечер своими обычными делами, я ни на миг не перестаю думать о том, что, возможно, сейчас происходит; более того, я сознательно настроил свой слух на регистр человеческой боли. Но амбар – здание массивное, с тяжелыми дверями и крохотными оконцами, да и стоит он далеко, за скотобойней и мельницей, в южном квартале. К тому же застава, ставшая впоследствии приграничной крепостью, постепенно переросла в земледельческое поселение, в город, где живут три тысячи душ и где шум повседневной жизни, которым эти души наполняют теплый летний вечер, не затихнет лишь из-за того, что кто-то где-то кричит. (Вот я уже и начал оправдываться.) Когда у полковника Джолла выпадает свободное время и мы снова встречаемся, я подвожу разговор к вопросу о пытках.

– А что, если допрашиваемый говорит правду, но понимает, что ему не верят? – спрашиваю я.– Ведь это ужасно, вам не кажется? Представьте себе: человек готов во всем признаться, он признаётся, больше ему признаваться не в чем, он сломлен, но на него все равно давят и требуют новых признаний! И какую огромную ответственность берет на себя допрашивающий! Как вы вообще определяете, когда вам говорят правду?

– По тону голоса, – отвечает Джолл. – Когда человек говорит правду, голос у него звучит в некой особой тональности. Распознавать ее нам помогают специальная подготовка и практический опыт.

– Тональность правды?! А в обычной, обыденной речи вы тоже ее слышите? Вот сейчас, например, вы можете определить, правду я говорю или нет?

За все время нашего знакомства мы с ним впервые так откровенны, но он небрежно перечеркивает великий миг легким взмахом руки.

– Нет, вы меня не поняли. Я говорю лишь о вполне определенных обстоятельствах, когда правды необходимо доискиваться, когда, чтобы установить истину, я вынужден применять нажим. Сначала в ответ я слышу только ложь – это, знаете ли, проверено, – итак, сначала идет ложь, я нажимаю, снова идет ложь, я нажимаю сильнее, наступает перелом, затем я нажимаю еще сильнее, и вот тогда уж слышу правду. Таки устанавливается истина.

Примем боль за истину, все прочее подвергнем сомнению. Вот что я выношу из беседы с полковником Джоллом, а воображение усердно рисует мне картинки из его жизни в столице, куда ему явно не терпится скорее вернуться, и где он – ах, эти безукоризненные ногти, этот лиловый платочек, эти изящные ноги в мягких туфлях! – разгуливает в антрактах по фойе и сплетничает с приятелями.

(Но, с другой стороны, кто я, чтобы доказывать, что между нами лежит пропасть? Я с ним пью, я с ним ем, я знакомлю его с нашими достопримечательностями, я оказываю ему всяческое содействие, как повелевает его мандат, и так далее. Империя требует от своих подданных не любви друг к другу, а лишь выполнения каждым его долга.)

Отчет, который он представляет мне как городскому судье, лаконичен.

«В ходе допроса были выявлены противоречия в показаниях задержанного. Когда ему было указано на эти противоречия, он пришел в ярость и напал на офицера, про водившего допрос. В последовавшей схватке задержанный сильно ударился о стену. Попытки вернуть его к жизни оказались безуспешными».

Для составления протокола в полном соответствии с буквой закона я вызываю стражника и прошу его дать свидетельские показания. Он излагает факты, я записываю: «Задержанный разъярился и напал на приезжего офицера. Меня вызвали на помощь, чтобы его утихомирить. Но пока я пришел, схватка уже кончилась. Задержанный был без сознания, из носа у него текла кровь». Я показываю ему, где расписаться. Он почтительно берет у меня перо.

– Этот офицер объяснял тебе, что ты должен мне говорить? – тихо спрашиваю я.

– Так точно, – отвечает он.

– Руки у задержанного были связаны?

– Так точно. То есть никак нет.

Я отпускаю его и выписываю разрешение на похороны.

Но потом, вместо того чтобы лечь спать, беру фонарь, пересекаю площадь и в обход, переулками, добираюсь до амбара. Стражник сменился, перед дверью при стройки спит, завернувшись в одеяло, другой, такой же простой крестьянский парень. Сверчок в амбаре, заслышав мое приближение, смолкает. Засов громко звякает, но стражник не просыпается. Поднимаю фонарь выше и вхожу в сарай, сознавая, что вторгаюсь в пределы, ставшие отныне освященными (или, если угодно, осквернеными, хотя какая разница?), в заповедник, оберегающий тайны Государства.

Мальчик лежит в углу на соломе, живой, невредимый. Кажется, что он спит, но его выдает напряженность позы. Руки у него связаны на груди. В другом углу – длинный белый сверток.

Я бужу стражника.

– Кто тебе приказал оставить труп в сарае? Кто зашил его в саван?

Он слышит гнев в моем голосе.

– Это тот, который приехал вместе с господином офицером, с их милостью. Я когда заступал, он как раз тут был. Он мальчишке этому сказал, я сам слышал: ты, говорит, спи со своим дедушкой, а то он озябнет. А потом еще вроде как хотел мальчишку тоже в саван зашить, в этот же самый, но не зашил.

Мальчик лежит все в той же неловкой позе, зажмурив глаза, а мы выносим труп из сарая. Во дворе стражник светит мне фонарем, я поддеваю ножом шов, распарываю саван и откидываю ткань с лица старика.

Седая борода слиплась от засохшей крови. Губы разбиты и оттянуты к деснам, зубы переломаны. Один глаз закатился, вместо другого кровавая дыра.

– Закрой его, – говорю я.

Стражник связывает края распоротого савана. Но узел развязывается.

– Мне сказали, он разбил голову о стенку. А ты что скажешь?

Стражник устало смотрит на меня и молчит.

– Принеси какую-нибудь бечевку и свяжи покрепче.

Я поднимаю фонарь над мальчиком. Тот даже не шевелится; но когда я нагибаюсь и глажу его по щеке, он дергается, его начинает бить дрожь, по телу волнами бегут судороги.

– Не бойся, – говорю я. – Я тебе плохого не сделаю.

Он перекатывается на спину и закрывает лицо связанными руками. Руки у него опухли и побагровели. Я пробую распутать веревки. Рядом с этим мальчиком я почему-то особенно неловок.

– Послушай меня: ты должен сказать господину офицеру всю правду. Ничего другого ему от тебя не надо. Как только он поверит, что ты говоришь правду, он тебя больше не тронет. Но ты должен сказать ему все, что знаешь. На каждый вопрос ты должен отвечать только правду. Если будет больно, не отчаивайся. – Узел наконец поддался, и мне удается ослабить веревки. – Потри руки, надо разогнать кровь.

Беру его руки в свои и мну их. Морщась от боли, он сгибает пальцы. Зачем кривить душой, я сейчас играю жалкую роль матери, утешающей ребенка в коротких промежутках между вспышками отцовского гнева. И я уже понял, что, допрашивая, можно поочередно менять две маски и пускать в ход два голоса: один – суровый, другой – ласковый.

– Его вечером кормили? – спрашиваю я стражника.

– Не знаю.

– Тебе поесть давали? – Мальчик мотает головой. Мне все больше не по себе. Зря я впутался в эту историю. Чем она кончится, неизвестно. Поворачиваюсь к стражнику: – Я уже ухожу, но у меня к тебе три просьбы. Во– первых: когда руки у него отойдут, свяжешь их снова, но не слишком туго, чтобы не опухли. Во-вторых: труп пусть лежит там, где сейчас, то есть во дворе. Назад в сарай его не клади. Утром я пораньше пришлю могильщиков, и они его заберут. Если кто-нибудь начнет задавать вопросы, скажешь, что я тебе так приказал. И в-третьих: сейчас ты запрешь сарай и пойдешь со мной на кухню. Я дам тебе для мальчика какой-нибудь еды, ты вернешься сюда и его накормишь. Пошли.

Я нисколько не собирался во все это влезать. Городской судья, ответственный чиновник на службе у Империи, я дорабатываю оставшийся до пенсии срок на этой тихой границе и мечтаю скорее уйти на покой. Я собираю церковную десятину и налоги, распоряжаюсь общинными землями, слежу, чтобы наш гарнизон был обеспечен всем необходимым, руковожу младшими офицерами – других у нас здесь и нет, надзираю за торговлей и дважды в неделю председательствую на судебных заседаниях. А еще любуюсь восходами и закатами, ем, сплю и живу в свое удовольствие. Когда я умру, в «Новостях Империи», надеюсь, появятся заслуженные мною три строчки мелкого шрифта. Спокойная жизнь в спокойное время ничего большего я для себя не ищу.

Но с прошлого года из столицы начали доходить слухи о волнениях среди варваров. Торговые караваны, двигавшиеся по прежде безопасным дорогам, подвергались нападениям и грабежу. Участились и стали более дерзкими случаи угона скота. Исчезло несколько чиновников, проводивших перепись; их трупы нашли потом в наспех вырытых могилах. В губернатора одной из провинций во время инспекционной поездки стреляли. Кое-где произошли стычки и с отрядами пограничной охраны. Племена варваров вооружаются, твердили слухи; Империи следует принять предупредительные меры, ибо война неизбежна.

Сам я с подобными происшествиями не сталкивался. Мои собственные наблюдения подсказывали, что каждые тридцать – сорок лет слухи о варварах непременно вызывают

всплеск истерии. Любой женщине, живущей в приграничной полосе, не раз снится, как из-под кровати высовывается смуглая рука варвара и хватает ее за щиколотку; любой мужчина не раз в ужасе представляет себе, как варвары пируют в его доме, бьют стекла, поджигают занавески, насилуют его дочерей. Все эти фантазии – порождение слишком беспечной жизни. Покажите мне собранную варварами армию – тогда я поверю.

В столице опасались, что северные и западные племена варваров наконец решили объединиться. Офицеров генштаба начали направлять на границу с проверками. Усиливали отдельные гарнизоны. По просьбе некоторых торговцев караванам придавали группы военного сопровождения. И чего никогда раньше не было, в приграничную полосу стали наведываться сотрудники Третьего отдела Гражданской Охраны – стражи безопасности Империи, знатоки, выявляющие самые скрытые поползновения смуты, поборники истины, мастера допросов. Так что, полагаю, для меня отныне кончилась череда безмятежных лет, когда ко сну я отходил со спокойной душой, зная, что там подтянешь, здесь подкрутишь, и все будет, как и прежде, катиться по наезженной колее. Если бы у меня хватило ума попросту сдать двух этих недотеп полковнику, размышляю я, – «Извольте, полковник, вы свое дело знаете, вы с ними и разбирайтесь!» – если бы я, как и следовало, уехал на несколько дней на охоту, скажем, в верховья реки, а потом возвратился и, не читая или небрежно пробежав равнодушными глазами его отчет, поставил бы внизу свою печать и не спрашивал бы себя, что на самом деле означает слово «допрос» и что прячется за ним, как привидение за кладбищенской оградой – если бы у меня хватило ума поступить правильно, тогда, вероятно, я смог бы сейчас вернуться к моим привычным занятиям: постреливал бы уток, выезжал на соколиную охоту, лениво предавался плотским утехам, а там, глядишь, беспорядки успели бы кончиться и границу перестало бы лихорадить. Но, увы, никуда я не уехал: просто на время запретил себе слышать вопли, доносившиеся из пристроенной к амбару кладовой, а потом, вечером, взял фонарь и отправился туда, чтобы увидеть все собственными глазами.

Куда ни глянь, земля до самого горизонта бела от снега. Снег падает с неба, озаренного светом, который исходит не из одной точки, а рассеян равномерно и повсюду, словно солнце расплавилось и превратилось в дымку, в ауру. Во сне я прохожу через гарнизонные ворота, иду мимо голого флагштока. Городская площадь передо мной расползается, края ее сливаются с мерцающим небом. Стены, деревья, дома – все вдруг съежилось, потеряло незыблемость, отодвинулось куда-то за пределы мира.

Я скольжу по площади, и постепенно сквозь белизну проступают темные силуэты, фигурки играющих детей: дети строят из снега замок, сверху они воткнули в него маленький красный флажок. От мороза детей защищают варежки, сапожки, шарфы. Пригоршню за пригоршней носят дети снег, стены их замка становятся все толще и рельефнее. От детей клубочками отлетает белый пар дыхания. Крепостной вал вокруг замка уже наполовину построен. Напрягаю слух, чтобы хоть что-то уловить в странном плывущем гомоне детских голосов, но не разбираю ни слова.

Я понимаю, что я – огромное темное пятно, и потому не удивляюсь, когда при моем приближении детские фигурки бесследно тают. Все, кроме одной. Девочка в капюшоне – она старше других, может быть, даже уже не девочка, а девушка – сидит, отвернувшись от меня, на снегу и мастерит ворота замка: ноги ее развернуты коленями наружу, руки роют, приминают, лепят. Встаю у нее за спиной и наблюдаю. Она не оборачивается. Какое оно, это лицо между лепестками остроконечного капюшона – я пытаюсь представить его себе, но не могу.

Мальчик лежит на спине, голый; спит, дышит часто и неровно. Тело его блестит от пота. На руке впервые нет повязки, и вскрывшийся нарыв виден целиком. Подношу фонарь ближе. Живот и пах у него сплошь покрыты мелкими струпьями, царапинами, порезами, из некоторых

еще сочится кровь.

– Что они с ним делали? – шепотом спрашиваю у стражника, того же паренька, который был здесь вчера вечером.

– Да ножом, – шепотом отвечает он. – Просто маленьким ножичком. Вот таким. – Двумя пальцами, большим и указательным, он показывает длину ножа. Потом зажимает воображаемый нож в руке, с маху вонзает его в тело спящего мальчика и слегка покручивает, как ключ в замочной скважине, то вправо, то влево. Затем вытаскивает его, опускает руку и снова неподвижно замирает.

Опускаюсь возле мальчика на колени, свечу фонарем ему в лицо и тормошу его. Он вяло открывает глаза, но тотчас закрывает их снова. Глубоко вздыхает и начинает дышать не так часто.

– Мальчик! – говорю я. – Тебе снится страшный сон. Ты должен проснуться.

Он открывает глаза и, щурясь от света, глядит на меня. Стражник приносит склянку с водой.

– А сидеть он может? – спрашиваю я.

Стражник отрицательно качает головой. Потом приподнимает мальчика и подносит склянку к его губам.

– Послушай, – говорю я. – Мне сказали, что ты сознался. Как мне сказали, ты подтвердил, что вместе со стариком и другими мужчинами вашего племени вы угоняли овец и лошадей. Ты сказал, что ваше племя вооружается и что весной все вы объединитесь для великой войны против Империи. Ты говорил правду? Ты хоть понимаешь, что может наделать твое признание? Ты это понимаешь? – Замолкаю; весь мой пыл напрасен, в глазах у мальчика пустота и усталость, как у человека, пробежавшего огромное расстояние. – Ведь теперь солдаты станут нападать на твой народ. Начнется резня. Ваши люди будут гибнуть, может быть, погибнут даже твои родители, твои братья и сестры. Неужели ты и вправду хочешь, чтобы это случилось?

Он не отвечает. Трясу его за плечо, бью по щеке. Он даже не вздрагивает; у меня ощущение, что я дал пощечину мертвецу.

– Наверно, ему очень плохо, – шепчет за спиной стражник. – У него все болит, и ему очень плохо.

Мальчик смотрит на меня и закрывает глаза.

Вызываю единственного здешнего лекаря, старика, который зарабатывает на жизнь тем, что рвет горожанам зубы и готовит любовные эликсиры из костяной муки и крови ящериц. На нарыв он ставит мальчику припарку из глины, а десятки порезов и ранок смазывает жирной мазью. Через неделю встанет на ноги, обещает он. Потом советует кормить больного посытнее и торопливо уходит. Откуда у мальчика эти увечья, он не спрашивает.

Полковник же горит нетерпением. Он задумал совершить набег на кочевников и захватить побольше пленных. Мальчика он хочет взять с собой проводником. Меня полковник просит дать ему тридцать из сорока солдат нашего гарнизона и обеспечить отряд лошадьми.

Пытаюсь его отговорить.

mir-knigi.org

– Не в обиду будь сказано, полковник, но вы все же не настоящий военный,– начинаю я.– И вам не приходилось воевать в этом диком краю. Опытных проводников у вас нет, а этот ребенок до того вас боится, что готов наплести что угодно, только бы вы были довольны, да и, кроме того, он еще слишком слаб для такого путешествия. Солдаты вам тоже вряд ли чем-то помогут, они всего лишь простые деревенские рекруты, и многие из них не отъезжали от гарнизона дальше, чем на пять миль. Варвары же почуют ваше приближение еще за день и скроются в пустыне. Они живут здесь всю жизнь, они эти места знают. А вы и я – мы с вами здесь чужие, и к вам это относится даже в большей степени, чем ко мне. Я искренне не советую вам ехать.

Он внимательно меня выслушивает и, более того (как мне кажется), поощряет мою болтливость. Не сомневаюсь, что позже этот разговор записывается и против моего имени ставится пометка «неблагонадежен». Услышав все, что его интересовало, он отмахивается от моих доводов.

– Поймите, судья, мне дано четкое задание. Только я сам могу определить, когда оно будет выполнено.– И продолжает приготовления к походу.

Ехать он собирается в своей черной двухколесной карете, к которой сверху привязаны походная кровать и складной письменный стол. Я выделяю для отряда лошадей, повозки, фураж и провизию на три недели. Вместе с полковником едет и наш гарнизонный лейтенант. Я приглашаю его к себе, разговор идет с глазу на глаз.

– Не полагайтесь на проводника. Он слабоволен и запуган. Следите за погодой. Запоминайте ориентиры. Ваша главная забота привезти нашего гостя назад целым и невредимым.

Лейтенант кланяется.

Снова иду к Джоллу, пробую выведать его намерения.

– Да, – говорит он. – Конечно же, я не берусь предугадать весь ход событий. Ну а если в общих чертах, то сначала мы отыщем стоянку этих ваших кочевников, а дальше будем действовать по обстоятельствам.

– Я вас об этом спрашиваю только потому,– продолжаю я, – что, если вы заблудитесь, именно нам выпадет задача найти вас и вернуть в лоно цивилизации.

Мы оба умолкаем и каждый по-своему смакуем иронический смысл последнего слова.

– Да, конечно, – говорит он. – Но такое вряд ли случится. К счастью, вы же сами снабдили нас превосходными картами.

– Эти карты, полковник, составлены, в основном, с чужих слов. Я только свел воедино все, что за последние десять-двадцать лет узнал из рассказов путешественников. В местах, куда вы направляетесь, сам я никогда не был. Я лишь хочу вас предостеречь.

Его присутствие в нашем городе уже на второй день настолько вывело меня из равновесия, что я с ним холодно вежлив, не более. Вероятно, за годы работы разъездным палачом он привык, что его чураются. (Но, может быть, в наши дни палачей и экзекуторов продолжают считать нечистью только в провинции?) Я гляжу на него и гадаю, что он почувствовал в первый раз, в тот, самый первый раз, когда его, еще не мастера, а ученика, попросили рвануть клещи или закрутить тиски, или, не знаю, что там у них еще принято; дрогнуло ли хоть что-то в его душе, когда он понял, что в этот миг переступает запретную черту? А еще я ловлю себя на том, что хотел бы узнать, есть ли у него какой-то свой, личный ритуал очищения, совершаемый за

закрытыми дверьми и позволяющий ему потом выйти к людям и преломить с ними хлеб. Может быть, он, к примеру, очень тщательно моет руки или переодевается во все чистое; или, может быть, Третий отдел вывел новый вид человека, который способен без малейшего волнения погружаться в скверну и так же невозмутимо из нее выходить?

Поздно вечером с другого конца площади, из-под старых ореховых деревьев несется пиликанье и громыханье оркестра. В воздухе розовое марево от кучи раскаленных углей, на которых солдаты жарят целого барана, подарок от «их милости». Солдаты будут пьянствовать полночи, а на рассвете двинутся в путь.

Переулками дохожу до амбара. Стражника на месте нет, дверь в пристройку открыта. Заношу ногу через порог, но вдруг слышу, как в глубине сарая кто-то перешептывается и хихикает. Вглядываюсь в сплошную темноту и спрашиваю:

– Кто здесь?

Что-то трещит, и уже знакомый мне молодой стражник чуть не сбивает меня с ног.

– Извините, ваша милость, – говорит он. От него разит ромом. – Меня арестант позвал, и я, стало быть, хотел ему помочь.

Из темноты раздается громкий смех.

Я сплю, просыпаюсь от грохота оркестра, играющего на площади очередной танец, снова засыпаю, и мне снится раскинувшееся на спине тело: густые, черные, отливающие золотом волосы узкой полоской тянутся через живот, в паху полоска расширяется и треугольником, похожим на наконечник стрелы, уходит в темную бороздку между ног. Я протягиваю руку, хочу эти волосы погладить, но они вдруг начинают шевелиться. Потому что это не волосы, а пчелы, целый рой карабкающихся друг по другу пчел: измазанные медом, липкие, они выползают из темной бороздки и часто-часто машут крыльями.

Чтобы напоследок не показаться невежливым, верхом провожаю полковника до того места, где дорога сворачивает у озера на северо-запад. Солнце уже поднялось, и озеро так нестерпимо блестит, что я заслоняю глаза рукой. За каретой, устало трясясь в седлах, следуют солдаты, еще не протрезвевшие после ночного кутежа. В середине колонны едет арестант, его поддерживает скачущий рядом стражник. Лицо у мальчика бледное, на лошади он сидит неуклюже, видно, что раны все еще причиняют ему боль. Замыкает колонну вьючный обоз – телеги везут бочки с водой, провиант и тяжелую поклажу: пики, мушкеты, амуницию, палатки. В целом безрадостное зрелище: всадники не держат строя, одни едут с непокрытой головой, другие в тяжелых кавалерийских касках с перьями, третьи в обычных кожаных шапках. Блеск воды слепит, и солдаты стараются смотреть в сторону, все; кроме одного: этот едет, отважно глядя вперед сквозь осколок закопченного стекла, который он прилепил к палочке и, подражая предводителю отряда, держит перед глазами. Как далеко зайдет эта нелепая мода?

Мы едем молча. Жнецы, вышедшие на поля еще до зари, отрываются от работы и машут нам вслед. У поворота натягиваю поводья и прощаюсь.

– Благополучного возвращения, полковник, – говорю я.

С непроницаемым лицом он чуть заметно кивает мне из окна кареты.

И я скачу назад, на сердце у меня легко, я рад снова остаться один на один с миром, который знаю и понимаю. Поднявшись на крепостную стену, смотрю, как отряд короткой змейкой

ползет по северо-западной дороге, взяв курс на далекое зеленое пятно, туда, где в озеро впадает река и где узкая полоса растительности исчезает в дымке пустыни. Медное солнце по-прежнему тяжело висит над водой. К югу от озера простираются болота и солончаки, а за ними тянется сине-зеленая гряда голых холмов. В поле крестьяне нагружают сеном два больших старых фургона. Стая диких уток, описав в небе круг, плавно снижается над озером. Закат лета, время покоя и изобилия. Покой – вот что главное, считаю я, и, может быть, даже любой ценой.

В двух милях южнее города однообразие песчаной равнины нарушено небольшим островком дюн. Ловить в болоте лягушек и кататься со склонов дюн на гладких деревянных санках – излюбленные летние развлечения местной детворы: лягушек дети ловят утром, а с дюн катаются вечером, когда солнце садится и песок начинает остывать. Хотя ветер дует здесь круглый год, дюны не рассыпаются, их удерживают покров чахлой травы и, как я случайно узнал несколько лет назад, деревянные каркасы. Дело в том, что дюны скрывают под собой развалины домов, возведенных в древние времена, еще до присоединения западных провинций, задолго до того, как была построена крепость.

Раскопки этих руин давно стали одним из моих увлечений. В тех случаях, когда городу не требуется рабочая сила для починки оросительных каналов и плотины, я за незначительные нарушения закона приговариваю виновных к нескольким дням работы на дюнах; сюда же я отправляю солдат, получивших дисциплинарные взыскания; было время, когда раскопки настолько меня захватили, что я даже нанимал поденщиков и платил им из своего кармана. Но работать здесь никому не по душе, ведь копать приходится под палящим солнцем или колючим ветром, укрыться негде, отовсюду летит песок. И потому люди работают в дюнах, не разделяя моего интереса (им он кажется чудачеством); их удручает, что песок тут же ползет обратно. Тем не менее за эти годы мне все же удалось откопать до уровня пола несколько наиболее крупных строений. Одно из них, откопанное последним, выступает из песка, как потерпевший крушение корабль, и его видно даже с городской стены. Среди обломков этого здания, возможно, бывшего когда-то общественным учреждением или храмом, я и подобрал тот тяжелый, вытесанный из тополя карниз, который сейчас висит у меня над камином: на карнизе резной узор в виде переплетенных, выпрыгнувших из воды рыб. И там же, в нише под полом, в мешке, который рассыпался от первого прикосновения, я нашел набор деревянных табличек, покрытых значками письменности, не похожей ни на один известный мне алфавит. Такие таблички, разбросанные среди руин, словно бельевые прищепки, мы находили и раньше, но в большинстве они были настолько отполированы песком, что письмена на них стали почти неразличимы. На этих же, новых, каждый значок виден так ясно, будто его вывели вчера. В надежде расшифровать загадочную письменность я принялся собирать все таблички подряд, не отбрасывая ни одной, а играющим в дюнах детям обещал за каждую такую находку небольшое вознаграждение.

Бревна, которые мы откапываем, насквозь высохли и крошатся. Многие из них сохранили свою первоначальную форму только благодаря плотно сковавшему их слою песка и на воздухе мгновенно превращаются в труху. Другие ломаются, едва к ним прикоснешься. Возраст древесины мне неизвестен. В легендах варваров – а все они скотоводы, кочевники, живут в шатрах – не встречается упоминаний о каком-либо постоянном поселении близ озера. Человеческих останков среди руин нет. Если здесь и было кладбище, то мы его пока не нашли. В раскопанных домах нет никакой мебели. Однажды в куче золы мне попались черепки из необожженной глины и что-то коричневое, рассыпавшееся на моих глазах в пыль – возможно, когда-то это был кожаный башмак или шапка. Я не знаю, где брали дерево для строительства этих домов.

Может быть, в те далекие времена отсюда гнали к реке преступников, рабов, солдат, и, пройдя

двенадцать миль, они вырубали тополя, пилили их, привозили на телегах отесанные бревна в это голое бесплодное место и строили дома, а может быть, и крепость, кто знает, а потом со временем умирали, и всё ради того, чтобы их хозяева – префекты, судьи, военачальники могли утром и вечером подниматься на крыши и башни и обозревать мир от края и до края, дабы вовремя заметить приближение варваров. Возможно, в моих раскопках я зацепил лишь самый верхний слой. Возможно, на десять футов ниже лежат руины другой крепости, в свое время разрушенной варварами и ныне населенной лишь скелетами тех, кто рассчитывал обрести безопасность за высокими стенами. Возможно, стоя на полу раскопанного суда – если это строение действительно было судом, – я стою над костями другого судьи, такого же, как я, убеленного сединами слуги Империи, который пал при исполнении служебных обязанностей, наконец-то столкнувшись с варварами лицом к лицу. Но как это узнать? Подобно кролику зарываться в землю все глубже и глубже? Подскажут ли когда-нибудь разгадку письмена на табличках? В мешке табличек было двести пятьдесят шесть штук. А вдруг это число не случайно? Когда я их впервые пересчитал и заподозрил в числе скрытый смысл, я расчистил свой кабинет и начал раскладывать их на полу: вначале я выложил из них один большой квадрат, потом шестнадцать маленьких, потом перепробовал множество других комбинаций, полагая, что значки, которые я сперва принял за элементы слоговой азбуки, на деле могут оказаться кусочками мозаичной картины, и она, если я набреду на правильный вариант, внезапно откроется передо мной во всей полноте: древняя карта страны варваров или изображение исчезнувшего пантеона. Я даже дошел до того, что изучал отражение табличек в зеркале, складывал их в столбик, объединял поочередно в пары и совмещал половинку одной таблички с половинкой другой.

Однажды вечером – дети уже разбежались по домам ужинать – я в одиночестве бродил среди руин, пока не опустились фиолетовые сумерки и не зажглись первые звезды, пока не наступил тот час, когда, по преданию, пробуждаются ото сна призраки. Как научили меня дети, я приложил ухо к земле, чтобы услышать в ее глубинах то же, что слышат они: глухой шум, стоны, далекую прерывистую дробь барабанов. Щеку ополоснуло шорохом песчинок, катящихся через пустошь из ниоткуда в никуда. Последний свет угас, очертания крепости поблекли, а потом и вовсе растворились в темноте. Я прождал целый час: закутанный в плащ, я сидел, прислонясь к углу древнего дома, в котором когда-то, должно быть, и разговаривали, и ели, и играли на музыкальных инструментах. Я сидел, глядя, как восходит луна, сидел, раскрыв все свое существо навстречу ночи, и ждал знамения, способного подтвердить, что я прав в моих догадках, и то, что окружает меня, то, что лежит у меня под ногами, есть нечто большее, чем просто песок, тлен, ржавчина, черепки и зола. Но знамения не было. Я не испытывал ни трепета, ни леденящего страха. Сидеть в песке было тепло. И вскоре я заметил, что клюю носом.

Я встал, потянулся и устало побрел домой сквозь напоенную ароматом темноту; дорогу мне подсказывали тускло мерцавшие в небе отблески домашних очагов. Как это глупо, думал я: вместо того чтобы вовремя вернуться домой, съесть свой солдатский ужин и лечь спать, пожилой человек решает вдруг посидеть в темноте и дождаться, когда с ним заговорят голоса прошлого. Небо над нами – всего лишь небо, и оно ничуть не презреннее и ничуть не благороднее неба над хибарками, домами, храмами и учреждениями столицы. Небо есть небо, жизнь есть жизнь – всё всюду одинаково. Но я, человек, живущий за счет труда других, человек, лишенный изысканных пороков, которыми он мог бы заполнять досуг, – я заботливо лелею свою тоску и пытаюсь усмотреть в пустоте пустыни некий пикантный каприз истории. Тщеславие, праздность, самообман! Какое счастье, что никто меня сейчас не видит!

Сегодня, спустя всего четыре дня после выезда полковника в экспедицию, прибывает первая партия пленных. Из своего окна я вижу, как они плетутся через площадь под конвоем едущих

верхом солдат; пыльные, изнуренные, они шарахаются от уже набежавшей толпы, от резвящихся детей, от лающих собак. В тени гарнизонной стены солдаты спешиваются; пленные немедленно садятся на корточки отдохнуть, все, кроме маленького мальчика, который остается стоять на одной ноге и, оперевшись о плечо матери, с любопытством глядит на зевак. Кто-то приносит ведро воды и ковшик. Пленные жадно пьют, а толпа тем временем растет и смыкается вокруг них таким плотным кольцом, что мне ничего не видно. В нетерпении жду солдата, который, проталкиваясь сквозь толпу, шагает через двор гарнизона.

– Что все это значит? – кричу я на него. Он кланяется и шарит в карманах.– Они же рыбаки! Зачем вы их сюда пригнали?

Он протягивает мне письмо. Взламываю печать и читаю: «Прошу до моего возвращения держать этих и последующих пленных в полной изоляции». Под его подписью стоит еще одна печать, печать Третьего отдела, которую он взял с собой в пустыню и на поиски которой, если полковник погибнет, мне, без сомнения, придется отправлять вторую экспедицию.

– Он – болван! – кричу я. В бешенстве бегаю по комнате. Никогда не следует порицать офицеров в присутствии солдат, равно как и порицать отцов в присутствии детей, но этот человек не вызывает у меня и намека на уважение. – Неужели никто не сказал ему, что они из племени рыбаков? Тащить их сюда напрасная трата времени! Вы должны были помочь ему выследить воров, бандитов, врагов Империи! Разве не видно, что эти люди не представляют для Империи никакой опасности? – Выбрасываю письмо в окно.

Толпа при моем приближении расступается, и вот я уже стою перед кучкой жалких, оборванных пленных. Видя мой гнев, они дрожат, мальчик прижимается к матери. Приказываю солдатам:

– Разгоните толпу и отведите этих людей на гарнизонный двор!

Солдаты подталкивают пленных, все мы входим во двор, ворота за нами закрываются.

– А теперь объясняйте,– говорю я.– Неужели никто не сказал ему,

что от этих пленных никакого толка? Неужели вы не сказали ему, что рыбаки с сетями это одно, а дикие кочевники на лошадях и с луками – совсем другое? Неужели никто не сказал, что у них даже язык разный?

– Когда они нас увидели, они побежали в камыши,– объясняет какой– то солдат.– Они увидели, что мы верхом, и хотели спрятаться. Тогда его милость приказали нам взять их в плен. Потому что они прятались.

От досады я готов выругаться. Жандарм! Логика жандарма!

– А его милость не сказал, зачем нужно гнать их сюда? Он не объяснил, почему не может допросить их на месте?

– Так мы ж никто их языка не знаем, ваша милость.

Ничего удивительного! Эти рыбаки – аборигены, племена «речных людей» появились здесь даже раньше кочевников. Живут они вдоль реки маленькими колониями по две-три семьи, большую часть года ловят рыбу и охотятся, осенью плывут на лодках к далеким южным берегам озера, где ловят и сушат красных червей; ютятся они в хлипких соломенных хижинах, зимой страдают от холода, одеждой им служат шкуры животных. Боятся кого угодно, чуть что

прячутся в камышах – что могут они знать о великой кампании варваров против Империи?

Посылаю солдата на кухню за едой. Он приносит вчерашнюю лепешку и протягивает ее самому старому из пленных. Тот почтительно принимает хлеб двумя руками, обнюхивает, ломает лепешку на куски и раздает остальным. Они набивают рот этой райской манной и быстро жуют, не поднимая глаз. Одна из женщин выплевывает пережеванный хлеб на ладонь и кормит этой кашицей младенца. Делаю знак, чтобы принесли еще хлеба. Мы стоим и смотрим, как они едят, будто перед нами не люди, а экзотические звери.

– Пусть пока поживут во дворе, – говорю я солдатам. – Нас это будет затруднять, но больше держать их негде. Если вечером похолодает, я скажу, как быть дальше. Следите, чтобы их кормили. Придумайте им какое– нибудь занятие, чтобы не сидели без дела. Ворота держите на запоре. Сбежать они не сбегут, но я не хочу, чтобы сюда ходили всякие бездельники и глазели на них.

Так и получается, что я усмиряю свой гнев и выполняю приказ полковника: держу его бесполезных пленных «в изоляции». А через день-два эти дикари словно и забыли, что когда-то у них был другой дом. Дармовая обильная еда и прежде всего хлеб развратили их, они перестали бояться, улыбаются кому угодно, разгуливают по двору, выбирая, где больше тени, подремывают, потягиваются, а когда приближается время кормежки, приходят в радостное возбуждение. Они лишены стыда и нечистоплотны. Один угол двора превратился в отхожее место, где мужчины и женщины открыто справляют нужду и где весь день жужжат тучи мух. («Дайте им лопату!» – приказываю я; но, получив лопату, пленные ею не пользуются.) Маленький мальчик, напрочь потеряв страх, то и дело бегает на кухню и клянчит сахар. Сахар и чай для этих людей такое же ошеломляющее открытие, как хлеб. Каждое утро им выдают брикетик прессованного чая, и они варят его в большой бадье, установленной на треноге над костром. Они здесь всем довольны; если мы их не прогоним, они, чего доброго, останутся жить у нас навсегда – как мало, оказывается, надо, чтобы соблазнить их и вывести из привычного состояния. Часами наблюдаю за ними из верхнего окна (другие бездельники вынуждены глазеть сквозь решетку ворот). Я наблюдаю, как их женщины давят вшей, расчесывая и заплетая друг другу в косы длинные черные волосы. Некоторых мучают приступы сухого хриплого кашля. Меня удивляет, что, кроме грудного младенца и маленького мальчика, среди них нет больше детей. Быть может, кое-кому, самым проворным и бдительным, все же удалось сбежать от солдат? Хорошо, если так. Мне хочется верить, что, когда мы вернем их домой, на реку, им будет что рассказать соседям о своих удивительных приключениях. Мне хочется верить, что история их житья в плену станет легендой, одной из тех, что переходят от деда к внуку. Но еще мне хочется верить, что воспоминания о нашем городе, о здешней легкой жизни и диковинной пище окажутся не слишком живучи и не поманят их обратно. Мне ни к чему тут целое племя попрошаек.

Несколько дней «речные люди» остаются главным развлечением города: всех забавят их странное бормотанье, их неуемный аппетит, животное бесстыдство и внезапные вспышки ярости. Толпясь в дверях казармы, солдаты разглядывают их, отпускают непристойные замечания, которые тем непонятны, и гогочут; к решетке ворот весь день липнут дети; я же наблюдаю сверху, из окна, невидимый за стеклом.

Потом внезапно все мы разом понимаем, что они нам надоели. Грязь, вонь, шумные ссоры, кашель терпеть это нет сил. Происходит неприятный случай: солдат пытается затащить одну из их женщин в казарму, может быть, в шутку, кто знает, и его закидывают камнями. Ползет слух, что они больны и городу угрожает эпидемия. Несмотря на то, что я приказываю вырыть в углу двора яму и вывозить нечистоты, на кухне отказываются выдавать пленным миски и бросают им еду прямо на землю, словно они и в самом деле звери. Солдаты запирают двери

казармы, дети больше не приходят к воротам. Ночью кто-то перекидывает через стену дохлую кошку, и во дворе поднимается переполох. Долгими жаркими днями они бесцельно слоняются по пустому двору. Младенец плачет, кашляет, снова плачет и снова кашляет – не выдержав, я забиваюсь в самый дальний угол своей квартиры. Пишу резкое письмо в Третий отдел, неусыпно оберегающий Империю, и сердито жалуюсь на некомпетентность одного из их эмиссаров. «Почему для расследования пограничных беспорядков вы посылаете людей, не имеющих опыта работы на границе?» – пишу я. У меня достает мудрости порвать это письмо. Если глубокой ночью открыть ворота, размышляю я, догадаются ли они сбежать? Но ничего не предпринимаю. Потом, в один из дней замечаю, что младенец больше не плачет. Выглядываю в окно, ребенка нигде не видно. Посылаю солдата, он обыскивает мать младенца и находит крошечное мертвое тельце у нее под одеждой. Она не желает с ним расставаться, мы вынуждены силой вырвать его у нее из рук. После этого она весь день в одиночестве сидит на корточках, закрыв лицо, и отказывается есть. Соплеменники, как мне кажется, брезгливо обходят ее стороной. Может быть, отобрав и похоронив ребенка, мы нарушили какой-то их обычай? Я проклинаю полковника Джолла за все те неприятности, которые он на меня навлек, и за этот стыд.

Потом, среди ночи, он неожиданно возвращается.

На крепостных стенах трубят фанфары, их звуки вторгаются в мой сон, в казарме суета, солдаты бестолково хватают оружие. Мысли у меня путаются, одеваюсь я медленно, и когда наконец появляюсь на площади, отряд уже входит в ворота: одни едут верхом, другие ведут лошадей под уздцы. Я стою в стороне, а собравшаяся толпа окружает солдат, их хлопают по плечу, обнимают, слышится радостный смех («Все живы!» – кричит кто-то), отряд продвигается вперед, и вот, в середине колонны, я вижу то, чего так . страшился: за черной каретой тащатся пленные, они идут гуськом, связанные друг с другом за шею общей веревкой, бесформенные фигуры в одеждах из шкур, озаренные серебряным светом луны; шествие замыкают несколько солдат, которые ведут . за собой телеги и вьючных лошадей. Тем временем зрителей набегает все больше, кое у кого в руках горящие факелы, шум нарастает, и, не желая присутствовать при триумфе полковника, я пробираюсь сквозь толпу назад, к себе домой. Только теперь я понимаю, как прогадал, выбрав неуютную квартиру над складом и кухней – она предназначалась для военного коменданта, которого в гарнизоне нет уже долгие годы, – вместо того, чтобы поселиться в отведенном судье красивом особнячке с геранью на окнах. Как бы я был рад погасить в ушах шум и крики со двора, вероятно, теперь уже навсегда превратившегося в тюрьму. Я чувствую себя старым и больным, я хочу спать. В последнее время, едва выпадает свободная минута, я сразу засыпаю, а когда просыпаюсь, мне хочется заснуть снова. Сон перестал быть для меня целебной ванной, восстановлением жизненных сил; он теперь – лишь забвение, лишь еже ночная встреча с небытием. Жить на этой квартире и дальше – мне вредно, думаю я; но дело не только в этом. Если бы я жил в положенном мне по чину особнячке на нашей самой тихой улице, если бы по понедельникам и четвергам проводил судебные заседания, каждое утро ездил на охоту, а вечера посвящал чтению классики и не обращал внимания на деятельность этого жандарма– выскочки; если бы я благоразумно уехал и, помалкивая, переждал эти черные дни, тогда, возможно, я не чувствовал бы себя сейчас в положении человека, который, попав во власть подводного течения, сдается без борьбы, перестает плыть и поворачивается лицом к морю и смерти. Но я ведь и сам понимаю, как непрочно мое недовольство, как зависит оно от того, например, что какой-то младенец вчера вопил под моим окном, а сегодня не вопит – именно сознание собственной неустойчивости вызывает у меня величайший стыд и величайшее безразличие к небытию. Пожалуй, я понимаю слишком много, а это недуг, заразившись которым вряд ли излечишься. Я ни в коем случае недолжен был брать фонарь и идти выяснять, что происходит в пристройке у амбара. Но, с другой стороны, взяв фонарь, я уже никак не мог поставить его на место. Нить запутывается в

клубок сама собой; конца ее мне не найти.

Весь следующий день полковник отсыпается в своих покоях, И прислуга в трактире ходит на цыпочках. Я стараюсь не обращать внимания на новую партию пленных во дворе. Очень досадно, что двери казармы, как и лестница, ведущая в мою квартиру, выходят во двор. С первыми лучами солнца торопливо ухожу из дома, весь день занимаюсь подсчетом городских доходов, а вечером ужинаю у друзей. На обратной дороге встречаю молодого лейтенанта, того, что сопровождал полковника Джолла в пустыне, и поздравляю его с благополучным возвращением.

– Но почему вы не объяснили полковнику, что рыбаки никак не смогут помочь его расследованию?

У лейтенанта смущенный вид.

– Я пытался, – говорит он, – но полковник не слушал. «Пленные есть пленные», – вот все, что он сказал. Ну я и решил с ним не спорить, я не в том звании.

На другой день полковник начинает допросы. Раньше мне казалось, что он ленив, что он попросту бюрократ с порочными наклонностями. Теперь вижу, как я ошибался. В своих поисках истины он не знает усталости. Допросы начинаются рано утром, а когда я после захода солнца возвращаюсь домой, они все еще продолжаются. Полковник взял себе в помощники старика, который всю жизнь проохотился на кабанов в верховьях и низовьях реки и знает сотню слов на речном языке. Одного за другим рыбаков ведут в комнату, где обосновался полковник, и спрашивают, не замечали ли они передвижения каких-нибудь всадников. Вопрос задается даже ребенку: «К твоему отцу не приходили по ночам чужие?» (Я, конечно, могу только догадываться о том, что там происходит, могу лишь представлять себе и этот страх, и растерянность, и унижение.) Затем пленных ведут не назад во двор, а в главный коридор казармы: солдат временно выселили и расквартировали в городе. Закрыв все окна, сижу в тяжелой духоте безветренного вечера, пытаюсь читать и напрягаю слух, чтобы расслышать или, наоборот, не слышать звуки насилия. Наконец в полночь допросы прекращаются, хлопанье дверей и топот сапог смолкают, залитый лунным светом двор погружается в тишину, и я позволяю себе лечь спать.

Радость ушла из моей жизни. Весь день я вожусь с какими-то списками и цифрами, растягиваю минутную работу на часы. Вечером ужинаю в трактире, потом, не желая возвращаться домой, поднимаюсь наверх, в лабиринт разгороженных клетушек, где ночуют конюхи и где «девушки» принимают у себя мужчин.

Сплю, как убитый. Проснувшись, в тусклом свете раннего утра вижу, что моя подруга, свернувшись калачиком, лежит на полу. Я трогаю ее за плечо:

– Почему ты спишь на полу'!

Она улыбается:

– Ничего страшного. Мне тут вполне удобно. (Ей действительно там удобно: лежа на мягком ковре из овчины, она потягивается и зевает, ее маленькое тело не закрывает собой и половины ковра).– Ты во сне очень ворочался, потом велел мне уйти, я и решила, что лучше лягу здесь.

– Я велел тебе уйти?

– Да. Во сне. Ты не огорчайся. – Она залезает в постель ко мне под бок. Я обнимаю ее, с

благодарностью, но без страсти.

– Сегодня вечером, пожалуй, снова к тебе приду,– говорю я. Она по– щенячьи тыкается носом мне в грудь. Я вдруг понимаю, что любое мое слово отзовется в ней сочувствием и лаской. Но что, что могу я ей сказать? «Пока мы с тобой спим, ночью творятся страшные дела?» Шакал выгрызает у зайца нутро, а жизнь как шла, так и идет.

Еще один день и еще одну ночь провожу вдали от царства боли. Засыпаю в объятьях моей девушки. Но утром она снова спит на полу. Видя мое смущение, она смеется:

– Ты брыкался и выпихнул меня. Только не огорчайся. Во сне мы себе не хозяева.

Кряхчу и отворачиваюсь. Я знаю ее уже год, и бывает, что хожу к ней по два раза в неделю. Отношусь я к ней со спокойной ровной теплотой, что, наверно, и лучше всего, если мужчина далеко не молод, а девушке двадцать лет; и уж конечно, это лучше, чем страстная требовательная любовь. Иногда я даже подумываю, не позвать ли ее жить у меня. Пытаюсь вспомнить, что же за кошмар снится мне каждый раз, когда я спихиваю ее с постели, но ничего вспомнить не могу.

– Если со мной опять это повторится, обещай, что ты меня разбудишь,

– прошу я.

Позже, в суде, когда я сижу у себя в кабинете, докладывают, что ко мне пришли. Входит полковник Джолл и, не снимая своих черных наглазников, садится напротив меня. Предлагаю ему чаю, и мне даже самому странно, что чашка у меня в руке не дрожит. Он говорит, что уезжает. Наверно, надо постараться скрыть радость? Сохраняя безупречно прямую осанку, он потягивает чай и внимательно разглядывает комнату, ярусы полок, хранящих перевязанные ленточкой стопки документов – итог десятилетий скучнейшей административной деятельности, шкафчик с книгами по юриспруденции, заваленный бумагами письменный стол. Он говорит, что временно прекратил расследование и должен спешно отбыть в столицу с отчетом. В его тоне сквозит тщательно скрываемое торжество. Понимающе киваю.

– Если могу чем-либо способствовать вашему путешествию… – говорю я. На мгновение в комнате повисает тишина. Затем небрежно, будто камешек в пруд, роняю в эту тишину мой вопрос: – Ну и как же ваши изыскания, полковник?.. Я имею в виду опросы кочевников и аборигенов… Дали они те результаты, на которые вы рассчитывали?

Готовясь ответить, он складывает руки лодочкой, пальчик к пальчику. Мне кажется, он знает, как раздражает меня его манерничание.

– Да, судья. Могу сказать, что некоторых успехов мы добились. Если к тому же помнить, что подобные расследования согласованно проводятся сейчас и на других участках границы.

– Очень рад. Тогда, может быть, скажете, следует ли нам чего-либо опасаться? Или мы можем спать спокойно?

Уголок его рта кривится в еле заметной улыбке. Затем он встает, кланяется, поворачивается и уходит. Назавтра, ранним утром, в сопровождении своего немногочисленного эскорта он отбывает, выбрав для возвращения в столицу долгий путь по восточной дороге. Все эти трудные дни и он и я умудрялись вести себя как воспитанные люди. Я всю жизнь считал, что вести себя иначе недопустимо; в данном же случае, не стану отрицать, я вспоминаю о собственном поведении с гадливостью.

Первым делом посещаю пленных. Отпираю казарму, коридор которой стал их тюрьмой, тошнотворный запах пота и экскрементов мгновенно переполняет меня отвращением, и я распахиваю двери настежь.

– Выведите их отсюда! – кричу я полураздетым солдатам, которые стоят во дворе и, наблюдая за мной, доедают свою овсянку. Из мрака коридора на меня тупо глядят пленные. – Идите туда и все там вымойте! – кричу я.– Чтобы все немедленно вымыть! С мылом! Чтобы все было, как раньше!

Солдаты спешат выполнить мой приказ; но почему свой гнев я срываю на них, вероятно, спрашивают они себя. Моргая, прикрывая глаза руками, на залитый светом двор выходят пленные. Одна из женщин самостоятельно идти не может. Она трясется, как старуха, хотя еще молода. Некоторые настолько ослабели, что не в силах встать на ноги.

Последний раз я видел их пять дней назад (если вообще могу утверждать, что их видел, что позволил себе нечто большее, чем неохотно скользнуть по ним отсутствующим взглядом). Что они вынесли за эти пять дней, мне неизвестно. Согнанные своими стражами в угол двора, они стоят сейчас, сбившись в жалкую кучку, рыбаки и кочевники вместе, больные, голодные, изувеченные, напуганные. Лучше всего было бы немедленно завершить эту мрачную главу всемирной истории, лучше всего было бы стереть этих уродов с лица земли и поклясться, что мы начнем все сначала, что мы встанем у кормила Империи, в которой больше не будет несправедливости, не будет страданий. С очень небольшими денежными затратами можно было бы вывести их строем в пустыню (предварительно накормив, чтобы они смогли идти), заставить их вырыть – из последних сил – большую яму, такую, чтобы хватило места на всех (или даже самим вырыть ее для них!), и, похоронив их там на веки вечные, вернуться в стены города полными новых надежд и дерзаний. Но этот путь не для меня. В «начать сначала», в новые главы и в чистые страницы верят новые люди Империи; я же упорно дочитываю старую, уже написанную книгу, в надежде, что, прежде чем я ее захлопну, она ответит мне, почему я когда-то вообразил, что стоит за нее браться. Итак, раз уж бразды правления в этих краях сегодня снова перешли в мои руки, приказываю, чтобы пленных накормили, чтобы вызвали лекаря и он сделал все, что может; чтобы казарма снова стала казармой и чтобы были приняты меры, которые позволят пленным вернуться к своей прежней жизни как можно скорее и как можно дальше от нас.

II

Она стоит на коленях в тени стены, неподалеку от гарнизонных ворот, закутанная в слишком просторный для нее балахон; на земле перед ней лежит меховая шапка. Как у всех варваров, у нее прямые брови и блестящие черные волосы. Почему женщина из племени варваров оказалась в городе и просит милостыню? В шапке лишь несколько мелких монет.

В тот день прохожу мимо нее еще дважды. И оба раза она ведет себя как-то странно: пока я далеко, она смотрит прямо перед собой, а когда я приближаюсь, медленно отворачивается. Проходя второй раз, бросаю в шапку монету.

– Уже поздно, и на улице холодно, – говорю я. Она кивает. Солнце садится в полосу черных туч; северный ветер несет с собой первые снежинки; площадь пуста; иду дальше.

На следующий день ее там нет. Подхожу к привратнику:

– Тут вчера какая-то девушка весь день просила милостыню. Кто она и откуда? – спрашиваю я.

Он отвечает, что она слепая. Из тех варваров, которых пригнал полковник. Они все ушли, а ее

бросили.

Несколько дней спустя вижу ее на площади: опираясь на две палки, она шагает медленно и неуклюже, полы овчинного балахона волочатся за ней в пыли. Распоряжаюсь, чтобы ее привели ко мне; и вот она уже стоит передо мной на своих подпорках.

– Сними шапку, – говорю я.

Солдат, которому я велел ее привести, снимает с девушки шапку. Да, это она: те же черные волосы, подстриженные на лбу неровной челкой, тот же широкий рот и те же черные глаза, глядящие как бы сквозь меня, как бы мимо.

– Мне сказали, ты слепая.

– Нет, я вижу,– говорит она. И, переведя глаза с моего лица вправо, смотрит на что-то у меня за спиной.

– Ты откуда? – Невольно кошусь через плечо: за спиной у меня ничего нет, она смотрит на голую стену. Взгляд ее тревожно застывает. Наперед зная ответ, повторяю вопрос. Она встречает его молчанием.

Отпускаю солдата. Мы остаемся одни.

– Я знаю, кто ты, – говорю я. – Будь добра, сядь. – Беру у нее палки и помогаю усесться на табурет. Под балахоном на ней широкие льняные панталоны, заправленные в грубые, тяжелые сапоги. От нее пахнет дымом, несвежим бельем, рыбой. Руки у нее в мозолях.

– Ты живешь подаянием? – спрашиваю я. – В городе тебе не место, ты же знаешь. Мы в любое время можем тебя выгнать и отправить назад, к твоему племени.

Она молча сидит и все так же странно глядит перед собой в стену.

– Посмотри на меня, – говорю я.

– А я смотрю. Я так вижу.

Несколько раз провожу рукой у нее перед лицом. Она моргает. Придвигаюсь вплотную и заглядываю ей в глаза. Она переводит взгляд со стены на меня. Молочные, чистые как у ребенка белки подчеркивают черноту зрачков. Прикасаюсь к ее щеке; девушка вздрагивает.

– Я спросил, чем ты зарабатываешь на жизнь? Она пожимает плечами:

– Стираю.

– Где ты живешь?

– Когда где.

– Бродяг мы в город не пускаем. Зима уже на подходе. Тебе нужно найти жилье. Иначе ты должна будешь вернуться к своим.

Она упрямо молчит. Чувствую, что хватит ходить вокруг да около.

– Могу предложить тебе работу. Я как раз ищу сейчас кого-нибудь, кто возьмется здесь убирать

mir-knigi.org

и стирать мне белье. Моя нынешняя служанка меня не устраивает.

Она понимает, о чем я. Сидит очень прямо, руки держит на коленях.

– У тебя кто-нибудь есть? Пожалуйста, не молчи.

– Нет.– Голос у нее срывается на шепот. Она откашливается. – Я одна.

– Я предлагаю тебе работать у меня. Ходить по улицам и просить милостыню ты больше не сможешь. Я этого не разрешу. И тебе нужен кров над головой. Если пойдешь ко мне работать, поселю тебя с моей кухаркой.

– Вы не понимаете. Вам такая не годится. – Она ощупью находит свои палки. Убеждаюсь, что она слепая. – Я ведь… – она выставляет вверх указательный палец, зажимает его другой рукой в кулак и крутит. Что означает этот жест, мне совершенно непонятно. Можно, я пойду?

До лестницы она добирается сама, но на площадке вынуждена остановиться и ждать, пока я помогу ей спуститься по ступенькам.

Проходит еще один день. Смотрю в окно: ветер гонит по площади вихри пыли. Двое мальчишек играют с обручем. Они запускают его в самую пыль. Обруч катится вперед, замирает на месте, качается, катится назад, падает. Мальчишки, задрав голову, бегут за обручем, ветер резко откидывает им волосы со лба, и я вижу чистые детские лица.

Нахожу девушку и останавливаюсь перед ней. Она сидит, привалившись к стволу большого орехового дерева; может быть, даже спит – понять трудно.

– Пойдем. – Я трогаю ее за плечо. Она мотает головой. – Пойдем, – повторяю я. – Все разошлись по домам. – Поднимаю с земли шапку и, выбив из нее пыль, протягиваю девушке, потом помогаю ей встать и медленно шагаю рядом с ней через площадь, где уже не осталось ни души и только привратник пялится на нас, загораживая глаза от света.

В камине горит огонь. Задергиваю занавески, зажигаю лампу. Сесть на табуретку девушка отказывается, но палки мне отдает и, опустившись на ковер, стоит посреди комнаты на коленях.

– Все совсем не так, как ты думаешь, – говорю я. Каждое слово дается мне с трудом. Неужели я собираюсь перед ней оправдываться?

Губы ее крепко сжаты, слышать она, без сомнения, тоже ничего не желает – очень ей нужен какой-то старик, да еще терзаемый угрызениями совести! Я суетливо расхаживаю вокруг, что-то объясняю про наши законы о бродягах, и сам себе противен. В тепле наглухо закрытой комнаты лицо у нее розовеет. Она теребит свой балахон и, открыв шею, поворачивается к огню. Я мало чем отличаюсь от тех, кто ее пытал, неожиданно сознаю я, и меня передергивает.

– Покажи мне твои ноги, – прошу я каким-то новым для себя, сиплым голосом. – Покажи, что они сделали с твоими ногами.

Она мне не помогает, но и не противится. Неловко развязываю тесемки ее балахона, распахиваю его, стягиваю с нее сапоги. Сапоги – мужские и непомерно ей велики. Без сапог ее обмотанные тряпками ноги кажутся бесформенными.

– Дай я посмотрю, – говорю я.

Она начинает разматывать грязные тряпки. Выхожу из комнаты, спускаюсь в кухню и приношу оттуда таз и кувшин с теплой водой. Она сидит на ковре и ждет, ноги она уже размотала. Ступни у нее широкие, пальцы – как обрубки, на ногтях корка грязи.

Она проводит рукой наискось по лодыжке:

– Вот здесь сломали. И другую тоже. – Она откидывается на спину и, уперевшись локтями в пол, вытягивает ноги вперед.

– Болит? – Я провожу пальцем по линии перелома и ничего не чувствую.

– Уже нет. Зажило. Может быть, зимой заболит. От холода. .

– Ты лучше-ка сядь. – Помогаю снять балахон, усаживаю ее на табуретку и начинаю мыть ей ноги. В первые минуты мышцы ее напряжены, потом она их расслабляет.

Действую неторопливо: взбиваю мыльную пену, крепко сжимаю тугие икры, разминаю косточки и связки, скольжу руками вниз, мою между пальцами. Не поднимаясь с колен, меняю положение и сажусь не лицом к ней, а боком, чтобы можно было локтем прижать ее ногу к себе.

Растворяюсь в ритме собственных движений. О девушке я забываю. Время останавливается на неизвестный срок; может быть, меня здесь нет вообще. Потом прихожу в себя: руки у меня обмякли, голова упала на грудь, в тазу передо мной по-прежнему стоят ее ноги.

Я вытираю правую, на коленях ползу вокруг таза, усаживаюсь с другой стороны, закатываю штанину широких панталон выше колена и, борясь с дремотой, принимаюсь мыть левую ногу.

– В этой комнате иногда бывает очень жарко, говорю я. Но ее нога прижимается ко мне все так же плотно. И я продолжаю мыть. – Я найду тебе чистые бинты, – обещаю я, – но только не сейчас.

Отодвигаю таз и вытираю вымытую ногу. Чувствую, как девушка пытается встать; теперь уж пусть сама, думаю я. Глаза у меня закрываются. Какое, оказывается, великое наслаждение держать их закрытыми, как упоительна эта блаженная зыбкость! Растягиваюсь на ковре. В следующее мгновение я уже сплю. Среди ночи просыпаюсь, окоченевший от холода. Огонь в камине погас, девушки в комнате нет.

Она ест, а я смотрю. Ест она, как едят слепые: уставилась в пустоту и все на столе находит на ощупь. У нее прекрасный аппетит, аппетит молодой здоровой крестьянки.

– Я не верю, что ты видишь,– говорю я.

– Нет, я вижу. Просто, когда я смотрю прямо, там ничего нет, там…

– Она делает рукой несколько кругообразных движений, будто моет окно.

– Пятно, – подсказываю я.

– Да, там пятно. Но то, что по краям, я вижу. Левый глаз у меня видит лучше, чем правый. Если бы я не видела, как бы я ходила?

– Это после них у тебя так?

– Да.

– А что они с тобой делали?

Она пожимает плечами и молчит. Тарелка перед ней пуста. Снова накладываю ей тушеных бобов, которые вроде бы так ей нравятся. Она очень быстро все подчищает, потом, прикрыв рот ладонью, рыгает и улыбается.

– От бобов пучит, – говорит она.

В комнате тепло, балахон висит в углу, сапоги стоят там же, и девушка сейчас только в белой рубашке и панталонах. Когда она не смотрит на меня, я для нее лишь серый силуэт, чьи непредсказуемые передвижения она видит краями глаз где-то сбоку от себя. А когда она смотрит на меня прямо, я – пятно, я – голос, я – запах, я – то живое и сильное, что вчера мыло ей ноги и заснуло и что сегодня кормит ее бобами, а завтра – что будет завтра, она не знает.

Наливаю в таз воды, усаживаю девушку на табурет и закатываю ей панталоны выше колен. Сейчас в воде у нее обе ноги, и видно, что левая завернута внутрь больше чем правая; я понимаю, что, когда девушка встает, она вынуждена стоять на внешних ребрах стоп. Щиколотки у нее толстые, опухшие, бесформенные, в багровых рубцах.

Начинаю ее мыть. Она приподнимает сначала одну ногу, потом другую. Разминаю и массирую в мягкой молочной пене ее вялые пальцы. Вскоре глаза у меня закрываются, голова падает на грудь. Я испытываю странное блаженство.

Вымыв ей ступни, мою лодыжки, икры, колени. Девушке приходится встать в тазу и опереться о мое плечо. Руки у меня скользят вверх и вниз, от лодыжек к коленям и обратно, вверх и вниз; пальцы щупают, гладят, мнут. Ноги у нее короткие и крепкие, икры мускулистые. Иногда мои пальцы забегают в сгиб под коленом, прослеживают линии сухожилий и вдавливаются в ямку между ними. Легко, как пушинки, пальцы взлетают выше и касаются ее бедер.

Довожу ее до кровати и вытираю теплым полотенцем. Начинаю стричь и чистить ей ногти, но сон уже накатывает на меня волнами. То и дело клюю носом и в оцепенении тяжело клонюсь вперед. Осторожно откладываю ножницы. Затем, в чем был, одетый, ложусь рядом с девушкой, головой к ее ногам. Обнимаю ее за икры, опускаю голову ей на колени и в тот же миг засыпаю.

Просыпаюсь в темноте. Лампа погасла, в комнате пахнет горелым фитилем. Встаю и раздергиваю занавески. Девушка спит, сжавшись в комочек, подтянув колени к груди. Когда я прикасаюсь к ней, она стонет и еще больше сжимается.

– Замерзнешь, – говорю я, но она не слышит. Накрываю ее одеялом, потом еще одним.

Сначала идет ритуал мытья, для которого она теперь раздевается догола. Я, как и раньше, мою ей ступни, щиколотки, колени, затем мои руки взбираются выше. Намыленная рука блуждает по ее бедрам совершенно равнодушно, замечаю я. Девушка приподнимает локти, и я мою ей подмышки. Потом живот, груди. Отодвигаю длинные волосы в сторону и мою затылок, шею. Она терпеливо ждет. Окатываю ее чистой водой и заворачиваю в полотенце.

Потом она лежит на кровати, а я натираю ее миндальным маслом.. Закрываю глаза, и ритм поглаживающих движении полностью подчиняет меня себе, вытесняя все мысли и чувства; за решеткой камина над высокой кучей поленьев шумит огонь. У меня нет желания проникнуть в это крепко сбитое маленькое тело, поблескивающее сейчас в отсветах огня. Уже неделю мы не говорим друг другу ни слова. Я дал ей кров, я ее кормлю, я пользуюсь ее телом не знаю,

уместно ли здесь это выражение, – избрав такой вот странный способ. Первое время, если я позволял себе какие-то особо интимные ласки, она на мгновенье застывала, словно окаменев, но сейчас тело ее остается мягким и податливым. Иногда она засыпает прежде, чем я заканчиваю ее растирать. Спит она крепко, как ребенок.

Под ее незрячим взглядом, в уютном тепле комнаты, я раздеваюсь без всякого стеснения, мне нестыдно своих костлявых ног, обвисшего живота, дряблой стариковской груди, морщинистой, как у индюка, шеи. Не думая о своей наготе, расхаживаю по комнате и иногда, после того, как девушка засыпает, нежусь у огня камина или сижу в кресле и читаю.

Но чаще всего, еще когда я продолжаю ее гладить, на меня накатывает сон, и, погружаясь в забытье, я тяжело, как под ударом меча, валюсь на нее и просыпаюсь только через час или два, с мутной головой, ничего не понимая и изнемогая от жажды. Эти уходы в лишенный сновидений сон похожи на смерть или на колдовской транс; они как провалы в пустоту вне времени.

Однажды вечером, втирая миндальное масло в корни ее волос, массируя ей виски и лоб, замечаю, что в уголке правого глаза у нее притаилась маленькая серая складка, словно туда заползла гусеница и, спрятав головку под веко, так там и осталась.

– Что это? – Я провожу ногтем по серой гусенице.

– Это после них.– Она отталкивает мою руку.

– Тебе больно?

Она отрицательно качает головой.

– Дай я посмотрю.

С каждым днем я все яснее сознаю, что никуда не отпущу эту девушку, пока не расшифрую и не пойму до конца каждую метку, оставленную на ее теле. Большим и указательным пальцами раздвигаю ей веки пошире. В розовом кармашке верхнего века складка обрывается, головка у гусеницы отрублена. Никаких других отметин на глазу нет. Он совершенно целый.

Всматриваюсь в глубину глаза. Как мне поверить, что обращенный на меня взгляд ничего не видит или видит только то, что по краям: например, мои руки, или углы комнаты, или кружок дрожащего света; но в центре, там, где я – лишь пятно, размытая пустота? Медленно провожу рукой у нее перед лицом и слежу за зрачками. Они неподвижны. Она не моргает. Потом улыбается:

– Зачем ты это? Думаешь, я не вижу?

Глаза у нее темно-темно-коричневые, почти черные.

Касаюсь губами ее лба.

– Что они с тобой делали? – шепчу я. Язык у меня еле ворочается, я качаюсь от усталости. – Почему ты не хочешь мне сказать?

Она мотает головой. Уже на пороге забытья вдруг вспоминаю, как мои пальцы, скользя по ее ягодицам, вроде бы нащупали под кожей что-то похожее на два идущих крест-накрест рубца.

mir-knigi.org

– Самое страшное это наше собственное воображение,– бормочу я. Но она будто и не слышит. Валюсь на кровать, тяну ее за собой, зеваю. Ну расскажи, хочется мне попросить ее, не делай из этого тайну, ведь боль это всего лишь боль; но слова убегают от меня. Мои руки смыкаются на ее плече, губы утыкаются ей в ухо, я мучительно пытаюсь что-то выговорить – и проваливаюсь в черную пустоту.

Я избавил ее от позорной участи нищенки и определил посудомойкой на гарнизонную кухню. «Всего шестнадцать ступенек – и ты в постели у судьи», любят говорить о кухарках наши солдаты. Другая их любимая шутка: «Что делает судья каждое утро перед уходом на работу? – Сажает свою очередную бабу в духовку, чтобы не остыла». Чем меньше город, тем больше в нем сплетен. У нас тут знают всё и обо всех. Сплетнями пропитан сам воздух, которым мы дышим.

Теперь часть дня она моет посуду, чистит овощи, помогает печь хлеб и готовить извечную солдатскую еду: овсянку, похлебку и жаркое. Кроме нее на кухне работают еще трое: старая повариха, командующая там чуть ли не с того времени, когда я стал судьей, и две женщины помоложе, одна из которых, самая молодая, в прошлом году пару раз поднималась на шестнадцать ступенек. Поначалу я опасаюсь, что эти две объединятся против нее; но ничего подобного судя по всему, они быстро находят общий язык. Проходя мимо дверей кухни во двор, я всякий раз слышу пробивающиеся сквозь теплый пар женские голоса, негромкую болтовню, смешки. И хотя сам понимаю, как это глупо, чувствую уколы ревности.

– Работа тебе не в тягость? – спрашиваю я.

– Девушки там мне нравятся. Они хорошие.

– Как-никак лучше, чем просить милостыню. Верно?

– Да.

Молодые кухарки, если ни одна не заночует на стороне, спят вместе в маленькой комнате в нескольких шагах от кухни. Именно в эту комнату пробирается она в темноте, когда среди ночи или под утро я отсылаю ее прочь. Не сомневаюсь, что ее подружки всё уже разболтали, и наши свидания в подробностях обсуждаются на базарной площади. Чем старше мужчина, тем нелепее представляется другим каждое его совокупление с женщиной, когда он стонет и хрипит, как подыхающее в конвульсиях животное. Притворяться, что я железный, или изображать добродетельного вдовца, я не могу. Ехидные усмешки, шуточки, понимающие взгляды – лишь часть цены, которую я смиренно согласился платить.

– Ну и как тебе тут? – спрашиваю я. – Нравится жить в городе?

– В общем-то нравится. Здесь интереснее.

– Ни по чему не скучаешь?

– По сестре скучаю.

– Если надумаешь вернуться, я прикажу и тебя отвезут, – говорю я.

– Отвезут куда? – Она лежит на спине, вяло сложив руки на груди. Я лежу рядом, разговариваю с ней шепотом. Как раз в такие минуты все и кончается. Моя рука, только что легко поглаживавшая ее живот, становится неуклюжей, как рачья клешня. Вспыхнувшее было

влечение или не знаю, как это назвать, мгновенно угасает; я вдруг вижу себя со стороны и, с удивлением сознавая, что прижимаюсь к этой апатичной девушке, тщетно пытаюсь вспомнить, что в ней могло вызвать у меня желание; я злюсь на себя за то, что и хочу ее, и не хочу.

Она же не замечает в моем настроении никаких перепадов. Жизнь ее постепенно наладилась и идет заведенным порядком, который ей вроде бы по душе. Утром, когда я ухожу, она приходит убирать квартиру. Потом помогает на кухне готовить обед. Всю вторую половину дня она, как правило, свободна. После ужина, когда кастрюли и сковородки вычищены, пол вымыт и огонь в плите затушен, она расстается со своими подругами и поднимается по лестнице ко мне. Раздевается и, улегшись в постель, ожидает моих непонятных ей знаков внимания. Иногда я к ней подсаживаюсь, ласкаю ее и без особой надежды на успех жду, что во мне взыграет кровь. А иногда сразу же задуваю лампу и тоже ложусь в постель. В темноте она скоро забывает обо мне и засыпает. А я просто лежу рядом с этим молодым здоровым телом, которое от сна наливается еще большим здоровьем и в тишине само себя лечит, упорно врачуя даже навсегда погубленные глаза и ноги, чтобы снова стать единым целым.

Мысленно возвращаюсь в недавнее прошлое и пытаюсь вспомнить ее такой, какой она была раньше. Я почти уверен, что видел ее в тот день, когда солдаты пригнали ее сюда вместе с другими варварами, связанными за шею общей веревкой. Я знаю, что наверняка скользнул по ней взглядом, когда вместе с остальными она сидела во дворе гарнизона, растерянно ожидая, что будет дальше. Мои глаза должны были задержаться на ней; но это мгновенье не запалов память. В тот день она еще не несла на себе мету палачей; но мне не под силу убедить себя, что она не всегда была меченой, так же, как и не под силу поверить, что когда-то она была ребенком, маленькой девочкой с косичками, которая бегала за своим любимым ягненком в том далеком-далеком мире, где я уверенно шагал по земле в лучшие годы моей жизни. Как я ни напрягаю память, мое первое воспоминание о ней остается неизменным: стоящая на коленях девушка просит милостыню.

Я еще ни разу не овладел ею. С самого начала моя страсть избрала не прямой, не столь прямолинейный путь. Стоит мне только подумать, что моя высохшая старческая плоть может вторгнуться в эту юную полнокровную теплоту, и я тут же представляю себе, как в молоко капают кислотой, как в мед сыплют золу, как в хлеб подмешивают мел. Когда я гляжу на ее нагое тело, а потом перевожу взгляд на свое, мне не верится, что некогда силуэт человеческой фигуры представал в моем воображении цветком, распускающимся из бутона чресел. И ее, и мое тело, оба они – нечто растекающееся, газообразное, зыбкое, в одних местах вдруг закручивающееся вихрями, в других – застывающее, густеющее; но в то же время всегда плоское, ровное. Как облако в небе не знает, что ему делать с другим облаком, так и я не знаю, что мне делать с ней.

Слежу, как она раздевается, в надежде уловить в ее движениях намек на былую раскованность. Но даже в том, как она снимает через голову рубашку и отшвыривает ее, чувствуется досада, настороженность, напряженность, словно она боится наткнуться на невидимое препятствие. На лице у нее недоверчивость зверька, который знает, что за ним наблюдают.

Недавно я купил у одного охотника черно-бурого лисенка. Ему всего два-три месяца, мать, наверно, только что отняла его от груди, зубы у него, как мелкая пила. В первый день девушка взяла его с собой на кухню, но он испугался огня и шума, так что теперь я держу его наверху, где он весь день прячется под мебелью. Ночью иногда слышу, как он тихонько царапает когтями пол, разгуливая в темноте. Пьет он налитое в блюдечко молоко, ест обрезки вареного мяса. Постоянно держать лисенка в доме невозможно – в комнатах уже пахнет, но он еще слишком мал, чтобы выпускать его во двор. Раз в три– четыре дня я зову внука поварихи, и мальчик, ползая за комодом и под стульями, выгребает помет.

– Очень красивый зверек, – говорю я. Она пожимает плечами:

– Зверям место на воле.

– Хочешь, я отнесу его к озеру и отпущу?

– Пока нельзя. Он еще слишком маленький и умрет с голода, или собаки загрызут.

И лисенок остается в доме. Изредка его остроносая мордочка высовывается из какого-нибудь темного угла. Но чаще он дает о себе знать только шумом по ночам и всепроникающим острым запахом мочи; а я тем временем жду, когда он достаточно подрастет и я смогу от него избавиться.

– Будут говорить, что я держу у себя сразу двух диких зверей – лисенка и девушку.

Шутка ей непонятна, а может быть, не нравится. Она поджимает губы, взгляд ее неподвижно застывает на стене. Я понимаю, что она изо всех сил старается смотреть на меня с презрением. Душа моя переполняется жалостью, но что я могу сделать? Появлюсь ли я перед ней, облаченный в судейскую мантию, или встану рядом голый, или вырву ради нее из груди сердце – все равно я останусь таким же, как сейчас.

– Прости меня, – говорю я, и слова равнодушно падают в пустоту. Протягиваю руку и, растопырив толстые, оплывшие пальцы, провожу пятерней по ее волосам. – Конечно, это разные вещи.

Одного за другим вызываю солдат, которые были приставлены к пленным в дни допросов. И все они повторяют одно и то же: с пленными они почти не разговаривали, входить в комнату, где проводился допрос, им не разрешалось, и что там происходило, они сказать не могут. Но от женщины, подметающей гарнизонный двор, я хотя бы узнаю, как та комната выглядела: «Там был только небольшой стол и табуретки… три табуретки, в углу циновка, а больше вообще ничего… Нет, не очаг, а только жаровня. Я из нее золу вытряхивала» .

Теперь, когда жизнь вернулась в обычное русло, эта комната снова занята. По моему приказу четверо размещенных там солдат вытаскивают на галерею свои сундучки, сваливают в кучу матрасы, ставят на них сверху тарелки и кружки, снимают веревки с выстиранным бельем. Захлопываю дверь и остаюсь в пустой комнате один. Погода безветренная и холодная. Озеро уже начало замерзать. Выпал первый снег. Вдали слышу колокольчики саней. Закрываю глаза и стараюсь представить себе эту комнату такой, какой она могла быть два месяца назад, во время визита полковника; но трудно предаваться фантазиям, когда за дверью толкутся четверо молодых парней, которые потирают от холода руки, притоптывают и, нетерпеливо дожидаясь, пока я уйду, что-то бормочут, а их теплое дыхание клубится в воздухе.

Опускаюсь на колени и осматриваю пол. Он чистый, его каждый день подметают, он такой же, как пол любой другой комнаты. Над очагом, на стене и потолке копоть. И еще пятно размером с мою ладонь, в том месте, где размазали сажу. А больше на стенах ничего нет. Какие следы вздумалось мне здесь искать? Открываю дверь и машу рукой, чтобы солдаты заносили свои пожитки назад.

Во второй раз задаю вопросы двум солдатам, которые охраняли двор:

– Расскажите поточнее, что происходило, когда пленных допрашивали. Расскажите о том, что вы видели сами.

Отвечает который повыше, шустрый парень с длинным подбородком; я его давно приметил, и он мне нравится.

– Офицер… – начинает он.

– Какой? Из полиции?

– Да… Офицер выходил в коридор, где держали пленных, и на кого– нибудь показывал. Мы того отводили на допрос. А потом приводили обратно.

– Допрашивали по одному?

– Нет, не всегда. Иногда по двое.

– Как вам известно, один из пленных после допроса умер. Вы помните этого пленного? Вы знаете, что они с ним делали?

– Мы слышали, он взбесился и напал на них.

– Это правда?

– Так нам сказали. Я помогал нести его назад в коридор. Где все они спали. Он как-то странно дышал. Очень глубоко и часто. На другой день он умер.

– Продолжай. Я слушаю. Расскажи мне вое, что ты помнишь.

Лицо у парня застывает. Его предупредили, чтобы не болтал, я в этом уверен.

– Того мужчину допрашивали дольше всех. Я видел, как после первого допроса он сидел один в углу и держался за голову. – Парень украдкой косится на своего напарника. – И он ничего не ел. С ним была его дочка: она его заставляла, но он все равно не ел.

– А что случилось с дочкой?

– Ее тоже допрашивали, но не так долго.

– Продолжай.

Но парню нечего мне больше сказать.

– Послушай, – говорю я. – И ты, и я знаем, кто его дочка. Она та девушка, которая живет у меня. Это не секрет. Так что рассказывай. Что с ней делали?

– Ваша милость, не знаю я! Я туда и не заходил. – Он просительно поворачивается к своему другу, но тот словно онемел. – Иногда она кричала, ее, наверно, били… Но я не знаю, меня там не было. Когда меня сменяли, я сразу уходил.

– Ты ведь знаешь, что теперь она не может ходить. Они ей переломали ноги. Скажи, они делали с ней все это в присутствии того другого, ее отца?

– Да. Кажется.

– И ты знаешь, что с тех пор она почти ничего не видит. Когда с ней это случилось?

mir-knigi.org

– Ваша милость, у нас же работы было невпроворот: столько пленных, и многие больные! Что у нее ноги сломаны, я знал, а что она слепая, узнал только потом. Я бы все равно не смог ничего сделать! Зачем мне вмешиваться в то, чего я не понимаю?!

Его другу добавить нечего. Отпускаю обоих.

– И не бойтесь, что вы со мной поговорили, – успокаиваю их я.

Ночью мне снова снится тот же сон. Я устало бреду по снегу бесконечной равнины к темным фигуркам, играющим вокруг снежного замка. Завидев меня, дети куда-то ускользают или тают в воздухе. И лишь одна фигурка остается, девочка в капюшоне сидит ко мне спиной. Ее руки продолжают пришлепывать снег к стенам замка, а я хожу вокруг, пока наконец не удается заглянуть под капюшон. Лицо ее лишено каких-либо определенных черт; это лицо зародыша или мордочка крохотного китенка; это вообще не лицо, а просто некая часть человеческого тела, обтянутый кожей бугор; оно белое; оно – снег. Онемевшими от холода пальцами я протягиваю монетку.

Зима установилась прочно. Ветер дует с севера и будет дуть без передышки еще четыре месяца. Когда я стою у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, мне слышно, как он посвистывает в щелях карнизов и ворошит отставшую от кровли черепицу. По площади гоняются друг за другом вихри песка, песчинки барабанят в окно. Небо заполнено мелкой пылью, солнце всплывает в оранжевую высь и остается висеть там, медное, тяжелое. Короткие метели то и дело присыпают землю снегом. Нас осадила зима. Поля опустели, у людей пропала нужда покидать стены города, и за ворота выходят разве те немногие, кто зарабатывает на жизнь охотой. Проходящий два раза в неделю смотр гарнизонного войска временно отменен, солдатам разрешили, если кто захочет, переселиться из казармы в город, потому что дел у них теперь мало только пить да спать. Когда я ранним утром обхожу крепостные стены, половина дозорных будок пуста, немногочисленные часовые закутаны в тяжелые тулупы и с трудом поднимают руку, чтобы отдать честь. Они вполне могли бы остаться дома и спать. До конца зимы Империи ничто не угрожает: в невидимой глазу дали варвары сейчас сгрудились вокруг своих очагов и тоже стучат зубами от холода.

К нам в этом году варвары не заглядывали. Раньше, бывало, кочевники зимой разбивали вокруг городских стен шатры и занимались торговлей, предлагая шерсть, шкуры, войлок и вещи из кожи в обмен на ткани, чай, сахар, бобы, муку. Кожаные изделия варваров ценятся у нас высоко, особенно их добротно сшитые сапоги. Я с давних пор поощряю эту торговлю, хотя и запретил вести ее на деньги. Кроме того, по мере сил слежу, чтобы варваров не пускали в таверны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы рядом с городом вырос поселок-паразит, где жили бы порабощенные пьянством попрошайки и бродяги. В прежние дни мне всегда было больно видеть, как эти люди, поддавшись вероломным уговорам лавочников, обменивают свои товары на дешевые побрякушки и валяются пьяными в канавах, тем самым подтверждая канонизированный горожанами набор предрассудков: мол, все варвары ленивые, развратные, грязные и тупые. Если приобщение к цивилизации влечет за собой подрыв их устоев и превращает варваров в зависимый народ, то я против такого приобщения, решил я; это убеждение легло в основу моей административной деятельности (и это говорю я, человек, взявший девушку из этого народа себе в наложницы!).

Но в этом году вдоль всей границы опустился занавес. Со стен нашей крепости мы вглядываемся в даль пустыни. Вполне вероятно, что с той стороны на нас точно так же глядят глаза позорче наших. Торговля прекратилась. С тех пор как из столицы сообщили, что ради спасения Империи будет сделано все возможное и любой ценой, мы снова вернулись в эпоху набегов и вооруженных дозоров. И теперь нам остается только держать порох сухим,

наблюдать и ждать.

Досуг я заполняю прежними увлечениями. Читаю классику; продолжаю составлять описи моих разнообразных коллекций; сверяю имеющиеся у нас разрозненные карты южной части пустыни; в дни, когда колючий ветер ослабевает, отправляюсь с отрядом землекопов расчищать наносы песка вокруг руин; раз, а то и два раза в неделю ранним утром езжу в одиночестве к озеру охотиться на зайцев и антилоп.

Лет тридцать назад антилопы и зайцы водились здесь в таком множестве, что по ночам поля молодой пшеницы сторожили с собаками. Но под натиском города, и прежде всего спасаясь от собак, которые дичали и охотились стаями, антилопы передвинулись на восток и север, в низовья реки, к дальним берегам озера. И теперь, прежде чем приступить к поискам добычи, охотник должен запастись терпением и отскакать на лошади по меньшей мере час.

Иногда, в погожее утро, ко мне будто возвращается молодость, я вновь полон сил и проворен, как мужчина в расцвете лет. Словно невесомый призрак, скольжу я от дерева к дереву. Обутый в сапоги, за тридцать лет насквозь пропитавшиеся смазкой, вброд перехожу студеные ручьи. Поверх камзола на мне просторная медвежья доха. Бороду опутывает иней, но пальцы в рукавицах не зябнут. Г лаза мои все видят, уши все слышат, ноздри подрагивают, как у гончей, душу полнит восторг.

Сегодня, стреножив лошадь, оставляю ее на унылом юго-западном берегу, там, где кончается узкий клин осоки, а сам углубляюсь в камыши. Ветер, морозный и сухой, дует прямо в лицо, солнце оранжевым апельсином повисло на горизонте в разлинованном красными и черными полосами небе. По нелепой случайности мне везет, я почти сразу же набредаю на «водяного козла», барана с тяжелыми изогнутыми рогами и уже по-зимнему косматой шерстью: он стоит ко мне боком и, слегка покачиваясь, обгрызает верхушки камышей. До него меньше тридцати шагов, я вижу мерные круговые движения его челюсти, слышу, как под ногами у него чавкает грязь. Мне видны даже бусинки льда в лохмах шерсти над копытами.

Я еще не успел полностью слиться с окружением; и все же, когда баран, поджав передние ноги, выпрыгивает из камышей, я вскидываю ружье и целюсь ему под лопатку. Делаю это плавным и уверенным движением, но, возможно, ружье блеснуло на солнце, потому что баран еще в воздухе поворачивает голову и видит меня. Цокнув, его копыта касаются льда, он перестает жевать, и мы смотрим друг на друга.

Сердце у меня бьется ничуть ни быстрее, чем прежде: судя по всему, мне безразлично, что баран умрет.

Он снова жует – один короткий, косой жевок – и застывает. В тиши ясного утра странное, неясное чувство подкрадывается ко мне откуда-то из глубин подсознания. Гляжу на неподвижно замершего барана, и мне кажется, что сейчас я властен над временем и даже успею заглянуть себе в душу и понять, что вдруг лишило охоту прелести; у меня такое ощущение, будто обычная утренняя охота неожиданно превратилась в значительное событие, от исхода которого зависит – суждено ли барану умереть, истекая кровью на льду, или старый охотник промахнется; будто, пока длится этот окаменевший миг, звезды на небе расположились в особом порядке, при котором все происходящее обретает иной смысл. Пытаясь отделаться от этого неприятного, жуткого чувства, я стою за своим невзрачным укрытием, пока баран наконец не отворачивается и, дернув хвостом, исчезает в высоких зарослях камыша, взбивая копытами землю.

Еще час бесцельно брожу там, потом поворачиваю обратно.

– Никогда прежде мне не казалось, что моя жизнь мне не подчиняется,

– говорю я девушке, пробуя объяснить, что случилось.

Ей не по себе от этого разговора, ее тревожит, что я вроде бы требую от нее какого-то ответа.

– Не понимаю. – Она трясет головой. – Разве ты не хотел его подстрелить?

Мы оба долго молчим.

– Когда хочешь что-то сделать, то это и делаешь, – говорит она очень твердо. Она старается выразить свою мысль ясно; но, может быть, она подразумевает другое: «Если бы ты захотел это сделать, то сделал бы». В языке-суррогате, на котором мы с ней объясняемся, нет нюансов. Она, как я заметил, любит констатировать факты и предпочитает категоричные заявления; ей не нравятся предположения, умозрительные вопросы, рассуждения; мы с ней не подходим друг другу. Возможно, варвары именно так воспитывают своих детей: жить надо, не вникая в смысл, полагаясь на мудрость законов, завещанных отцами.

– А ты? – говорю я.– Ты всегда делаешь то, что хочешь? – У меня ощущение, что я отпустил поводья и что эти слова занесут меня опасно далеко.

– Ты сейчас в постели со мной, потому что ты этого хочешь?

Она лежит голая, умащенное миндальным маслом тело отливает в свете огня зеленоватым золотом трав. Бывают минуты – и сейчас одна из таких минут,

– когда влекущее меня к ней желание, обычно смутное и подспудное, вдруг облекается в форму, которая мне привычна. Моя рука гладит, ласкает, свод моей ладони повторяет очертания ее груди.

Она не отвечает на мой вопрос, но я упорствую и, крепко обняв ее, хрипло шепчу ей в ухо:

– Ну не молчи, почему ты здесь?

– Потому что мне больше некуда деться.

– А почему я взял тебя к себе?

Она извивается в тисках моего объятья, рука ее, сжавшись в кулак, встает преградой между ее грудью и моей.

– Ты любишь много говорить, – жалуется она. Бесхитростное волшебство рассеивается; мы отодвигаемся друг от друга и молча лежим, каждый по себе. Какой птице достанет отваги запеть в плену шипов?

– Если охота тебе не в радость, не езди.

Я качаю головой. Смысл рассказанного мною вовсе не в том, но что толку спорить? Как неопытный школьный учитель, я вытягиваю из нее ответы щипцами наводящих вопросов, хотя был бы должен сам открыть ей истину.

– Ты меня все время спрашиваешь, и уж лучше я скажу. Это была вилка, что-то вроде вилки, только всего с двумя зубцами, и на них такие маленькие шарики, чтобы зубцы не кололись. Эту вилку они клали на угли, а когда она раскалялась, тыкали в тебя и жгли. Я потом у многих

видела следы.

Я ведь спросил ее совсем о другом! Хочу возразить, но почему-то молчу и слушаю, оцепенев от ужаса.

– Меня они, правда, не жгли. Сначала сказали, что выжгут глаза, но не выжгли. Тот человек поднес мне вилку к самому лицу и заставил на нее смотреть. Чтобы я не закрывала глаза, они держали мне веки. Но мне нечего было им сказать. Вот и все. …Тогда-то оно и случилось. Я перестала видеть, как раньше. Теперь на что ни погляжу, посредине – пятно; вижу только то, что по краям. Это трудно объяснить… Но сейчас становится лучше. Левый глаз видит уже лучше. Вот и все.

Сжимаю ее лицо в ладонях и всматриваюсь в мертвые зрачки, из глубины которых на меня бесстрастно глядит мое собственное, дважды повторенное отражение.

– А это? – Я притрагиваюсь к похожей на червяка складке в углу глаза.

– Это так, ничего. Они сюда вилку приложили. Немного обожгло. Здесь не болит.– Она отталкивает мои руки.

– Что ты чувствуешь к тем, кто это сделал? Она долго молчит, думает. Потом отвечает:

– Я устала от разговоров.

По временам я бунтую против поработившего меня ритуала, против накатывающей сонливости и этих провалов в никуда. Я перестаю понимать, чем приманило меня к себе это упрямое, неотзывающееся тело, и даже чувствую, как во мне закипает гнев. Я делаюсь замкнутым, раздражительным; девушка поворачивается спиной и засыпает.

В таком вот скверном настроении однажды вечером наведываюсь на второй этаж трактира. Когда я поднимаюсь по шаткой наружной лестнице, мимо меня, опустив голову, сбегает вниз какой-то мужчина, которого я не узнаю. В коридоре стучусь во вторую от лестницы дверь и вхожу. В комнате все так, как мне и запомнилось: постель тщательно застелена, на полочке над кроватью множество разных игрушек-безделушек, горят две свечи, от протянутой через всю стену большой трубы пышет жаром, в воздухе висит аромат флердоранжа. Сама же девушка сидит перед зеркалом. Когда я вхожу, она вздрагивает, но тут же встает, встречает меня улыбкой и закрывает дверь на задвижку. И я не вижу ничего странного в том, что немедленно сажаю ее на постель и начинаю раздевать. Подергивая плечами, она помогает мне обнажить ее аккуратное тело. «Как я по тебе скучала!» – вздыхает она. «Как приятно снова быть здесь!» – шепчу я в ответ. И как приятно, когда тебе так сладко лгут! Обнимаю ее, зарываюсь в ее теплоту, растворяюсь в ее мягкой птичьей копошне. Тело той, другой, сомкнутое, тяжелое, спящее в моей постели где-то далеко отсюда, кажется мне сейчас неразрешимой загадкой. В эти блаженные мгновенья трудно и вообразить, что могло повлечь меня к тому, чуждому телу. Девушка в моих объятьях трепещет, постанывает и, когда наслаждение достигает пика, вскрикивает. Со счастливой улыбкой погружаюсь в ленивую полудрему, когда вдруг понимаю, что даже не могу вспомнить лицо той, другой. «Она ущербна!» – говорю я себе. И хотя эта мысль сразу же начинает куда-то уплывать, я за нее цепляюсь. Я будто наяву вижу, как сомкнутые глаза и все ее лицо затягиваются пленкой кожи. Гладкое и сплошное, как кулак под черным париком, лицо это растет из туловища, гладкого и сплошного, без выпуклостей и впадин. Содрогаюсь от отвращения и крепче прижимаю к себе мою маленькую женщину-птичку.

Когда позже, среди ночи, я высвобождаюсь из ее объятий, она обиженно скулит, но не

просыпается. В темноте одеваюсь, закрываю за собой дверь. Ощупью спускаюсь по лестнице и спешу домой: под ногами хрустит снег, в спину ввинчивается ледяной ветер.

Зажигаю свечу и склоняюсь над тем, что холмиком лежит на кровати, над тем, что, кажется, почти сумело превратить меня в своего раба. Легко, кончиками пальцев вожу по ее лицу: четкий подбородок, высокие скулы, широкий рот. Касаюсь ее век. Хотя она ничем не выдает себя, я уверен, что она не спит.

Закрываю глаза, глубоко вздыхаю, чтобы унять волнение, и, ни о чем больше не думая, сосредоточенно пытаюсь разглядеть ее с помощью моих слепых пальцев. Красива ли она? Та, от которой я только что ушел, та, чей запах (внезапно понимаю я) она может сейчас на мне учуять, та – очень красива, в этом нет сомнения: ее хрупкая изящность, ее повадки и движения придают особую пронзительность острому наслаждению, которое я с ней познаю. Но об этой я ничего не могу сказать с определенностью. Я не могу усмотреть никакой зависимости между ее женской сутью и моим желанием. Я даже не до конца уверен, что хочу ее. Все мои эротические ухищрения лишены целенаправленности: я кручусь вокруг нее, глажу ее лицо, ласкаю ее тело, но не пытаюсь проникнуть в него и не стремлюсь к этому. Я только что вернулся из постели женщины, с которой за целый год, что я ее знаю, мне ни разу не приходилось учинять допрос моему желанию: хотеть ее означало обнять и войти в ее тело, вторгнуться в покой его глубин и вызвать там самозабвенно бушующую бурю; потом отступить, утихомириться и ждать, пока желание вновь наберет силу. Эта же словно целиком состоит из сплошной гладкой поверхности, по которой я рыщу взад-вперед, отыскивая брешь в неуязвимой броне. Не то же ли чувствовали ее палачи, добиваясь доступа к интересовавшему их секрету, в чем бы он, по их мнению, ни заключался? И я впервые испытываю к ним холодную жалость: какое типичное заблуждение полагать, что ты можешь прожечь, или просверлить, или прорубить себе путь к тайне чужого тела! Девушка лежит на кровати, но вовсе необязательно, чтобы это была кровать. Кое в чем я веду себя по отношению к ней, как любовник: я раздеваю ее, я ее мою, я ее ласкаю, я рядом с ней сплю – но с тем же успехом я мог бы привязывать ее к стулу и избивать, интимности в этом было бы ничуть не меньше.

И дело не в том, что со мной, возможно, творится то самое, что бывает с некоторыми мужчинами в определенном возрасте – скатывание по нисходящей, от распутства к мстительному садизму бессильной похоти. Если бы мое нравственное «я» в чем-то менялось, я бы это почувствовал; да тогда бы я и не стал проводить сегодня ночью вернувший мне уверенность эксперимент. Я такой же, каким был всегда; но время раскололось, что-то свалилось на меня с неба по чистой случайности: и вот в моей постели лежит это тело, за судьбу которого я отвечаю, или, по крайней мере, вообразил, что отвечаю, а не то зачем бы я его здесь оставил? Пока что, а может, так будет всегда, я попросту пребываю в недоумении. Как мне кажется, всё едино: лягу ли я рядом с ней и засну или заверну ее в простыню и закопаю в снег. Тем не менее, Склонившись над ней и касаясь кончиками пальцев ее лба, держу свечу осторожно, чтобы воск не пролился.

Мне непонятно, догадывается ли она, куда я ходил; но на другой вечер, когда мерный ритм нашего неизменного ритуала уже почти убаюкал меня, вдруг чувствую, как она останавливает мою руку, задерживает ее у себя на животе и направляет ниже. Несколько мгновений моя рука лежит там неподвижно; потом я капаю на пальцы еще несколько капель теплого миндального масла и начинаю ее ласкать. Она напряженно застывает, потом выгибается, дергается и отталкивает мою руку прочь. Продолжаю растирать ее, пока сам тоже не обмякаю, и проваливаюсь в сон.

Я не ощущаю никакого возбуждения в минуту этой, впервые взаимной и за все время наибольшей интимности. Девушка не становится мне ближе, да и в ее чувствах ко мне тоже,

кажется, ничего не изменилось. Наутро я пытливо вглядываюсь в ее лицо – оно пусто. Она одевается и ковыляет вниз, на кухню, к своим обычным, ежедневным делам.

Я в смятении. «Что я должен сделать, чтобы всколыхнуть тебя?» – слышится мне в глухом шепоте, что с недавних пор постепенно вытесняет из моей головы звучавший там диалог. «Неужели тебя не может всколыхнуть никто?»; и охваченный ужасом, я вижу перед собой ответ, напрашивавшийся с самого начала: лицо, прикрытое маской двух черных стеклянных стрекозиных глаз, из которых на меня смотрит не встречный взгляд, а лишь мой собственный, дважды повторенный образ.

Не веря, в ярости трясу головой. Нет! Нет! Нет! – кричу я себе. Это просто я сам из тщеславия искушаю себя всякими домыслами и аналогиями. Откуда оно, это извращенное пристрастие, пускающее корни в моей душе? Почему я, подобно гадающей на чаинках старухе, выискиваю какие-то хитроумные тайны и разгадки? У меня не было и нет ничего общего с палачами, с теми, кто, как тараканы, затаились в темных подвалах. Как я смею допускать мысль, что кровать может быть чем-то кроме кровати, а женское тело – чем-то, кроме обители наслаждения? Я должен доказать, что между мною и полковником Джоллом лежит пропасть! Я не желаю страдать за содеянные им преступления!

Начинаю посещать девушку из трактира регулярно. Днем, пока я сижу в своем кабинете за залом суда, бывают минуты, когда мысли мои разбредаются и я погружаюсь в эротические грезы, возбуждение вздымается во мне жаркой тяжелой волной, и я мысленным взором неторопливо скольжу по ее телу, как сгорающий от вожделения мечтатель-юнец; потом неохотно заставляю себя вернуться к скуке писанины или подхожу к окну и смотрю на улицу. Помню, как в первые годы моей службы в этом городе я бродил в сумерках по захолустным кварталам, прикрывая лицо плащом; как иногда чья-нибудь неугомонная жена перегибалась через крыльцо, высвеченная отблесками очага, пылавшего в глубине дома, и смело отвечала на мой взгляд; как я вступал в разговоры с молоденькими девушками, гулявшими по двое, по трое, угощал их шербетом, а потом, возможно, уводил одну из них в темноту, в старый амбар, на ложе из мешков. Назначению в приграничную полосу, конечно, не позавидуешь, говорили мне друзья, но все же там есть и свои преимущества: свобода нравов в оазисах, долгие благоуханные летние вечера, сговорчивые женщины с глазами, как вишни. Много лет подряд я расхаживал с сытым видом племенного хряка. Позже моя неразборчивая всеядность потихоньку сменилась более осмотрительными связями с экономками и горничными – иногда я поселял их в своих комнатах наверху, но чаще в каморке внизу вместе с кухарками. Я обнаружил, что женщины стали нужны мне реже; я начал больше времени тратить на работу, на свои увлечения, на собирание редкостей, на составление карт.

Более того: бывали тревожные случаи, когда в разгар любовной игры я вдруг чувствовал, что теряю взятый курс, – так рассказчик теряет порой нить повествования. Я с содроганием вспоминал комические истории о тучных стариках, чье перегруженное сердце внезапно перестает биться, и они с виноватой улыбкой умирают в объятьях своих дам, а потом их трупы приходится выволакивать из постели и бросать в темном переулке, чтобы спасти репутацию заведения. Даже сама кульминация любовного поединка постепенно становилась отстраненной, вялой, превращалась в нелепость. Иногда, на полпути к цели, я вдруг неподвижно замирал, иногда механически доводил дело до конца. Неделями, а то и месяцами я хранил воздержание. Прежнее восхищение теплотой и округлостями женского тела не покинуло меня, но к восторгу теперь примешивалось недоумение. Неужели мне действительно хочется вторгнуться в этот прекрасный храм и завладеть им? – спрашивал я себя. Желание, казалось, несло с собой скорбную боль расставания, которую тщетно было бы отрицать. Кроме того, я теперь не всегда понимал, почему лишь одна из частей моего тела, с ее неразумными

прихотями и лживыми посулами, заслуживает в роли проводника страсти наибольшего предпочтения. Порой этот орган представлялся мне совершенно самостоятельным существом, паразитирующей на мне безмозглой тварью, чьи когти так прочно вросли в мою плоть, что отодрать их мне не под силу. С какой стати я должен таскать тебя на себе от женщины к женщине, спрашивал я; неужели только потому, что ты родился без ног? Разве тебе было бы не все равно, если бы ты прилепился не ко мне, а, скажем, к собаке или кошке?

Но в то же время бывало – и особенно в прошлом году, с девушкой, которую в трактире окрестили Звездочкой, хотя у меня она неизменно вызывала сравнение с птицей, – я вновь попадал под власть прежнего волшебства и вновь начинал мерять наслаждение прежними мерками. И я думал: «Все дело в возрасте, просто желание и апатия циклами чередуются в теле, которое медленно охладевает, готовясь умереть. В молодости я возбуждался от одного запаха женщины; теперь же, судя по всему, волновать меня способны только самые красивые, самые юные, самые новые девушки. Так доживу и до дня, когда меня потянет к мальчикам». И не без отвращения я рисовал себе, какими будут мои последние годы в этом благодатном оазисе.

Вот уже три вечера подряд я прихожу к ней в ее маленькую комнату, приношу в подарок кананговое масло, сладости и горшочек с копчеными молоками, которые, как я знаю, она любит жадно поедать в одиночестве. Когда я обнимаю ее, она закрывает глаза; по телу ее волнами пробегает дрожь, которую легко можно принять за блаженство. Приятель, что рекомендовал мне ее первым, высоко отзывался о ее талантах: «Все это, конечно, обычное актерство, – говорил он, – но она тем и отличается от других, что верит в роль, которую играет». Мне же, как я замечаю, это глубоко безразлично. Захваченный ее спектаклем, я на миг открываю глаза под аккомпанемент ее вскриков, вздохов и стонов, потом снова погружаюсь в темную реку собственного наслаждения.

Три дня подряд мной владеет сладкая истома. Я хожу как во сне, чуть возбужденный, грезящий наяву. Домой возвращаюсь после полуночи и ныряю в постель, не обращая внимания на равнодушное тело рядом с собой. Если утром меня будит ее возня, притворяюсь спящим и жду, когда она уйдет.

Как-то раз, случайно проходя мимо кухни, заглядываю в открытую дверь. Сквозь призрачную завесу пара вижу коренастую девушку, которая сидит у стола и готовит еду. «А я знаю, кто это», – с удивлением думаю я про себя; но когда иду через двор, в памяти остается только зеленая горка кабачков, высившаяся перед ней на столе. Я сознательно стараюсь перевести мысленный взгляд с кабачков обратно, на руки, которые их режут, а с рук – на лицо. Чувствую, как что-то во мне не хочет, противится. Кабачки, блики света на их мокрой кожице – вот все, что видит мой оцепенелый взор. Будто он наделен волей и не желает сдвигаться. И тогда я смотрю правде в глаза: да, я действительно хочу забыть эту девушку напрочь. Я понимаю, что если бы взял сейчас карандаш и попробовал нарисовать ее лицо, то не знал бы, с чего начать. Неужели она действительно такая безликая? С усилием напрягаю память. Вижу фигуру в шапке и тяжелом бесформенном балахоне: она неуверенно стоит, наклонившись вперед, криво расставив ноги и опираясь на палки. Какое уродство, говорю я себе. Губы у меня сами складываются, чтобы произнести это мерзкое слово. Я удивлен, но не сопротивляюсь: она уродка, уродка, уродка.

В четвертую ночь возвращаюсь домой в дурном настроении, громко топая ногами, мечусь по комнатам, и мне наплевать, что я кого-то разбужу. Вечер кончился неудачей, возродившаяся страсть внезапно иссякла. Швыряю сапоги на пол и залезаю в постель с желанием затеять ссору, досадуя, что не на ком сорвать злость, и в то же время стыдясь, что веду себя, как ребенок. Зачем я впустил в свою жизнь эту лежащую рядом женщину, мне совершенно

непонятно. Одна мысль об экстатическом трансе, в который я погружался с помощью ее ущербного тела, наполняет меня холодным омерзением. Что я умудрился в ней увидеть? Пытаюсь вспомнить, какой она была до того, как жрецы боли приступили к исполнению своих обрядов. Не может быть, чтобы мой взгляд обошел ее стороной, когда она вместе с другими пленными варварами сидела во дворе в тот первый день. В сотах моей памяти, в одной из ячеек наверняка что-то отложилось, но извлечь это на поверхность я не способен. Я без труда вспоминаю женщину с ребенком и даже самого ребенка. Я помню мельчайшие подробности: обтрепанный край шерстяного платка, патину пота под светлым пушком детских волос. Я помню костлявые руки мужчины, который потом умер; мне кажется, с некоторым усилием я даже смогу воссоздать в памяти его лицо. Но рядом с мужчиной, там, где должна быть эта девушка, нет ничего, пустое место.

Среди ночи просыпаюсь: она трясет меня за плечи, а в воздухе еще висит эхо протяжного стона.

– Ты во сне кричал, – говорит она. – Ты меня разбудил.

– А что я кричал?

Она что-то бормочет и поворачивается ко мне спиной.

Немного позже она снова меня будит:

– Ты кричал.

Отупевший, встревоженный и злой, я пробую заглянуть в свои мысли, но там лишь круговерть с зияющей на дне черной пустотой.

– Что-нибудь приснилось? – спрашивает она.

– Я ничего не помню.

Может быть, мне опять снилось, как девочка в капюшоне строит снежный замок. Но этот сон непременно оставил бы после себя какой-нибудь привкус, отзвук, отблик.

– Я хочу тебя кое о чем спросить, – говорю я. – Ты помнишь, как вас привели сюда, на гарнизонный двор, в самый первый день? Солдаты заставили вас сесть. Где ты тогда сидела? Лицом куда?

В окно видно, как по лунному диску проносятся клочья облаков. Из темноты слышу возле себя голос:

– Нам приказали сесть всем вместе в тень. Я сидела рядом с моим отцом.

Вызываю в памяти образ ее отца. Стараюсь мысленно воссоздать жару, пыль, запах всех этих изнуренных тел. В тени под стеной казармы одного за другим рассаживаю пленных, всех, кого могу вспомнить. Вот женщина с ребенком, вот ее шерстяной платок, ее голая грудь. Ребенок кричит, я слышу этот крик; ребенок так устал, что взять материнскую грудь у него нет сил. Его мать, растрепанная, страдающая от жажды, потерянно глядит на меня, не зная, можно ли воззвать ко мне о помощи. Дальше я вижу два туманных силуэта. Пусть туманные, зато они есть: я знаю, что память и воображение совместными усилиями сгустят этот туман в четкие формы. Дальше сидит отец девушки, его костлявые руки сложены перед грудью. Шапка надвинута на лоб, глаз он не поднимает. Перевожу взгляд на пространство рядом с ним.

mir-knigi.org

– Ты сидела справа от отца или слева?

– Справа.

Справа от мужчины по-прежнему пусто. Мучительно напрягаясь, различаю даже отдельные камешки на земле перед ним и неровности стены у него за спиной.

– Что ты в это время делала?

– Ничего. Мы все тогда очень устали. Мы шли весь день, вышли до рассвета. Отдохнуть остановились только один раз. Мы все устали и хотели пить.

– Меня ты видела?

– Да, мы все тебя видели.

Обхватываю руками колени и сосредоточиваюсь. Пространство рядом с мужчиной до сих пор не заполнено, но уже возникает смутное ощущение ее присутствия, проступает ее аура. Еще! – подстегиваю я себя: сейчас я открою глаза, и она будет там! Открываю глаза. В тусклом свете вижу возле себя контуры ее тела. В неожиданном порыве тянусь к ней, провожу рукой по ее волосам, лицу. Но на мои прикосновения ничто не отзывается. Это все равно что гладить валун, или шар, или любой другой предмет, состоящий сплошь из поверхности.

– Я хочу вспомнить, какой ты была до того, как все это случилось,– говорю я.– И мне трудно. А ты, к сожалению, ничего рассказать не можешь.

Я не жду, что в ответ она возразит, и возражения не следует.

На смену тем, кто уже отслужил на границе свои три года и ждет возвращения домой, в гарнизон прибывает отряд рекрутов-новобранцев. Отрядом командует молодой офицер, который тоже останется в нашем гарнизоне.

Приглашаю его и двух его новых сослуживцев отужинать со мной в трактире. Вечер удается на славу: еда вкусная, выпивки вдосталь, мой гость развлекает нас рассказами о своем путешествии, проходившем в суровую пору года по совершенно незнакомой ему местности. Он потерял троих солдат,

рассказывает он: один вышел ночью из палатки справить нужду и так и не вернулся; двое других дезертировали, улизнув в камыши, уже почти на подходе к оазису. От этих смутьянов, как он их называет, он был даже рад избавиться. Но все же, не кажется ли мне, что с их стороны это было глупо? Очень глупо, отвечаю я; а он хотя бы догадывается, почему они дезертировали? Нет, говорит он: обращались с ними хорошо, со всеми обращались хорошо; но, сами понимаете, рекруты… Он пожимает плечами. Напрасно они дезертировали в конце путешествия, а не в начале, замечаю я. Край у нас дикий. Если они не нашли, где укрыться, их ждет верная смерть.

Разговор переходит на варваров. Он убежден, говорит он, что часть пути варвары издали следили за ним. Вы уверены, что это были варвары? – спрашиваю я. А кто же еще? – отвечает он. Сослуживцы его поддерживают.

Мне нравится его молодая напористость, его интерес к неизвестной ему жизни в приграничной полосе. То, что он сумел провести сюда свой отряд в такое губительное время года, заслуживает похвалы. Когда наши собеседники, сославшись на поздний час,

откланиваются, уговариваю его остаться. Уже за полночь, а мы всё говорим и пьем. Узнаю от него, какие новости в столице, где я так давно не был. Перечисляю ему места, воспоминания о которых вызывают у меня ностальгию: украшенные беседками сады, где для публики играет оркестр и где осенью под ногами шуршат опавшие листья каштанов; мой любимый мост, с которого видишь, как отражение луны плавает в ряби волн, расходящихся от круглых каменных опор, словно лепестки райского цветка…

– В штабе бригады, – говорит он, – ходят слухи, что весной против варваров начнут развернутое наступление, чтобы оттеснить их от границы в горы.

Мне жаль прерывать поток воспоминаний. Не хочется заканчивать вечер спором. И все же я в него ввязываюсь.

– Уверен, что это только слухи, – говорю я. – Не может быть, чтобы всерьез так решили. Эти, как мы их называем, варвары, они ведь кочевники, они из года в год кочуют в предгорьях, это их образ жизни. Они ни за что не позволят запереть себя в горах.

Выражение его глаз меняется. Впервые за этот вечер я чувствую, как между нами возникает барьер, извечный барьер между военными и гражданскими.

– Если уж говорить откровенно, – замечает он, – смысл любой войны в том и заключается, чтобы навязать другой стороне решение, которого она никогда не приняла бы по своей воле. – Он разглядывает меня с дерзкой бесцеремонностью свежеиспеченного выпускника Военной Школы. И я уверен, что в памяти у него всплывает, конечно же, успевшая широко разойтись история о том, как я отказался сотрудничать с офицером Третьего отдела. Легко могу себе представить, что он сейчас обо мне думает: в его глазах я мелкий гражданский чиновник, который, просидев в этой дыре столько лет, увяз в местной тягомотине и превратился в провинциала со старомодными взглядами, готового ради сохранения иллюзорного, непрочного мира поставить на карту безопасность Империи.

Он придвигается ко мне ближе, на его вежливом лице мальчишеское любопытство: я все более убеждаюсь, что он надо мной потешается.

– Судья, а если между нами, чем, по-вашему, эти варвары недовольны? – спрашивает он. – Что они от нас хотят?

Самое время вспомнить об осторожности, но я о ней забываю. Самое время зевнуть, уклониться от ответа и пожелать ему спокойной ночи; но я чувствую, что не могу устоять перед искушением. (Когда только я научусь держать язык на привязи?)

– Они хотят, чтобы мы прекратили заселять их земли. Хотят, чтобы, в конечном счете, их земли вернулись к ним. Хотят свободно передвигаться со своими стадами с пастбища на пастбище, как было раньше. Еще не поздно прервать эту лекцию. Но я сам слышу, как голос у меня звучит все громче, и, увы, отдаюсь во власть пьянящего гнева. – Я не стану сейчас говорить о наших недавних набегах на них, кстати, совершенно неоправданных, и о последовавших затем проявлениях бессмысленной жестокости, поскольку, как меня уверяли, безопасность Империи была под угрозой. Понадобится много лет, чтобы восполнить ущерб, нанесенный за эти несколько дней. Но не будем об этом; позвольте, я лучше расскажу вам, что удручает меня как должностное лицо даже в мирное время, даже когда на границе все благополучно. Как вам известно, каждый год кочевники заезжают к нам торговать. Ну так вот: походите в такие дни по базару и посмотрите, кого обвешивают и обманывают за любым прилавком, кого осыпают руганью и гонят в шею. Посмотрите, кто вынужден оставлять жен и дочерей сидеть в шатрах

из боязни, что в городе над ними надругаются солдаты. Посмотрите, кто валяется пьяным в канаве и кто пинает его там ногами. Презрение к варварам, презрение, с которым к ним относятся все, вплоть до любого паршивого конюха, любого жалкого крестьянина – вот то, с чем я, человек, облеченный властью судьи, вынужден мириться уже двадцать лет. Как, скажите, искоренить презрение, особенно если в основе его лежат такие ничтожные причины, как разная манера вести себя за столом и некоторое несходство в строении глазного века? Рассказать вам, о чем я иногда мечтаю? Я мечтаю, чтобы варвары восстали и преподали нам хороший урок, который научит нас уважать их. Мы считаем эти места своими, частью нашей Империи – наша застава, говорим мы, наш город, наш торговый центр. Но они, эти варвары, считают иначе. Мы живем здесь уже более ста лет, мы потеснили пустыню и построили оросительные сооружения, мы разбили здесь поля, возвели крепкие дома, окружили город стенами, но они все равно считают, что мы здесь в гостях, временно. Среди них есть старики, которые помнят рассказы отцов о том, каким был этот оазис раньше: надежно затененное место у озера, с пастбищами, изобильными даже зимой. Именно так они говорят об этом крае и до сих пор; возможно, именно таким они до сих пор его и видят, как будто земли этой ни разу не коснулась лопата, как будто город здесь еще даже не заложен. И они не сомневаются, что недалек тот день, когда мы сложим свой скарб на телеги и отбудем восвояси, туда, откуда прибыли; что в домах наших поселятся мыши и ящерицы; что на возделанных нами колосистых полях будет пастись их скот. Вы улыбаетесь? Хотите, я вам еще кое-что скажу? С каждым годом вода в озере становится все солонее. Это явление легко объяснить не суть важно. Варварам об этом известно. И они говорят себе: «Подождем, скоро от этой соли их поля захиреют, им нечем будет себя кормить, они должны будут отсюда уйти». Вот что они думают. Что переживут нас.

– Но мы отсюда не уйдем никогда, – спокойно говорит этот молодой человек.

– Вы уверены?

– Да, мы не уйдем, так что они заблуждаются. Даже если возникнет необходимость доставлять в город провизию из других мест, мы все равно не уйдем. Потому что эти приграничные поселения – передний край обороны Империи. И чем скорее варвары это поймут, тем лучше.

Несмотря на все его обаяние, ему свойственна некоторая твердолобость, привитая, должно быть, в Военной Школе. Я вздыхаю. Все мое красноречие было напрасно, ничего я не добился. Его худшие опасения несомненно подтвердились: мало того что я мыслю по старинке, я еще и несколько тронулся умом. Ну а сам я, действительно ли я так уж верю в то, что говорил? Действительно ли я жду не дождусь, когда восторжествует уклад жизни, присущий варварам: интеллектуальный застой, грязь, безразличие к болезням и смерти? Если нам суждено будет исчезнуть, станут ли варвары тратить свой досуг на раскопки наших руин? Станут ли они хранить под стеклом опросные листы наших переписей и амбарные книги наших торговцев зерном, займутся ли расшифровкой наших любовных писем? Быть может, мое возмущение политикой Империи всего лишь недовольное брюзжание старика, не желающего, чтобы потревожили покой тех нескольких лет, которые ему осталось дожить на границе? Я пытаюсь перевести разговор на более приемлемые темы, рассуждаю о лошадях, об охоте, о погоде; но уже поздно, моему юному другу пора идти, а мне пора расплатиться с трактирщиком за сегодняшний вечер.

И снова дети играют в снегу. Среди них и сидящая ко мне спиной девочка в капюшоне. Пока я бреду к ней, завеса падающего снега то и дело скрывает ее из вида. Ноги у меня увязают так глубоко, что я их еле поднимаю. Каждый шаг длится вечность.

Столько снега я в своих снах не видел еще ни разу. Когда я, пыхтя, приближаюсь к ним, дети

отрываются от игры и глядят на меня. Я вижу обращенные ко мне ясные серьезные лица, вьющиеся в воздухе белые клубы дыхания. Продолжаю двигаться к девочке и хочу по дороге улыбнуться детям, погладить их, но лицо мое сковано морозом, улыбка не получается, такое ощущение, будто на губах ледяная корка. Поднимаю руку, чтобы отодрать эту корку: оказывается, руки у меня в толстых перчатках, но пальцы все равно занемели от холода, и когда я притрагиваюсь к лицу, то ничего не чувствую. Тяжело переваливаясь, прохожу мимо детей.

Вот я уже вижу, что эта девочка делает. Она строит из снега крепость, обнесенный валом город, знакомый мне до мельчайших подробностей: зубчатая крепостная стена с четырьмя сторожевыми башнями, ворота с прилепившейся к ним каморкой привратника, улицы и дома, большая площадь, в одном углу которой расположились казармы гарнизона. А вот и то место, где я сейчас стою! Но на площади пусто, и весь город бел, нем и пуст. Тыкаю пальцем в середину площади. «Тебе нужно расставить здесь людей!» – хочу сказать я. Но язык примерз к гортани, как обледеневшая рыбина, изо рта у меня не вырывается ни звука. И все же девочка слышит. Она выпрямляется на коленях и поворачивает ко мне обрамленное капюшоном лицо. В последний миг мне становится страшно, я боюсь разочароваться, боюсь увидеть нечто сплошное, скользкое и гладкое, похожее на внутренний орган, не предназначенный для жизни на свету. Но нет, это – ее лицо, это – она, такая, какой я никогда ее не видел: улыбающийся ребенок, поблескивающие белые зубы, лучистые ярко-черные глаза. «Так вот, значит, что нужно видеть!» – думаю я. Мне хочется преодолеть мое замороженное косноязычие и поговорить с ней. «Ты же в рукавичках; как тебе удается такая тонкая работа?» – хочу спросить я. Она отвечает на мое мычание вежливой улыбкой. Потом снова отворачивается и продолжает лепить свою снежную крепость.

Просыпаюсь от холода. Еще целый час до рассвета, огонь в камине погас, голова у меня замерзла и онемела. Девушка спит рядом со мной. Вылезаю из постели, закутываюсь в судейскую мантию и заново развожу огонь.

Этот сон врос в меня. Ночь за ночью я возвращаюсь на пустошь занесенной снегом площади, добираюсь до одинокой фигурки в центре и каждый разубеждаюсь, что город, который она строит, мертв.

Расспрашиваю девушку о ее сестрах. У нее их две; младшая, как она говорит, «очень хорошенькая, но легкомысленная».

– А тебе не хочется снова увидеть своих сестер? спрашиваю я. Увидеть. Бестактная оговорка нелепо повисает в воздухе. Мы оба улыбаемся.

– Конечно, хочется, – говорит она.

Еще расспрашиваю ее, как она жила после освобождения из плена, оставшись без моего ведома в этом подвластном мне городе.

– Когда люди понимали, что мои меня бросили, они меня жалели. Вначале, пока не стало лучше с ногами, ночевала в трактире. Обо мне там заботился один мужчина. Его тут больше нет. Он держал лошадей. – Она также упоминает о мужчине, подарившем ей сапоги, в которых я увидел ее в нашу первую встречу. Спрашиваю, были ли и другие мужчины. – Да, были. А что мне оставалось? Иначе и быть не могло.

После этого разговора мне трудно относиться к нашим солдатам по– прежнему. В тот день, выйдя утром из дома и направляясь в суд, прохожу мимо шеренги рядовых, построенных для

редкого в зимнюю пору инспекционного смотра. Я уверен, что среди мужчин, замерших по стойке «смирно» перед сложенными у ног скатками с обмундированием, есть и те, кто спал с этой девушкой. Нет, мне даже не кажется, будто они посмеиваются в кулак. Напротив, я еще не видел, чтобы они так стоически держали равнение на морозном ветру, стегающем гарнизонный двор. Никогда прежде они не были со мной так почтительны. Будь им позволено, они, я знаю, сказали бы мне, что, мол, все мы – живые люди и что потерять голову из-за женщины способен любой мужчина. Но тем не менее я теперь предпочитаю возвращаться домой поздно вечером, чтобы не видеть очередь солдат перед дверью кухни.

Стала известна судьба двух сбежавших от лейтенанта дезертиров. Один охотник нашел их окоченевшие тела в шалаше неподалеку от дороги, в тридцати милях к востоку от города. И хотя лейтенант склонен оставить их лежать там («Тридцать миль туда и тридцать обратно, да еще в такую непогодь – не кажется ли вам, что это слишком большая честь для людей, которые уже не могут называться людьми?»), убеждаю его послать за ними небольшой отряд.

– Их необходимо похоронить, как принято, – говорю я. – Помимо всего прочего, это поднимет у солдат моральный дух. Нехорошо, если они будут думать, что их тоже могут бросить мертвыми в пустыне и никто о них не вспомнит. Мы обязаны делать все, чтобы мысль о неизбежном уходе из этого прекрасного мира не была для них столь страшной. В конце концов, ведь это мы подводим их к опасной черте.

Итак, поисковый отряд отправляется, и на третий день в гарнизон привозят на телеге два скрюченных обледеневших трупа. Мне по-прежнему непонятно, что побудило этих людей дезертировать за сотни миль от родного дома и всего в дне пути от теплого крова и пищи, но вопросов я больше не задаю. Пока идет похоронный обряд и солдаты, обнажив головы, наблюдают, как их менее удачливых товарищей предают земле, я стою у могилы на про мерзшем кладбище и твержу себе, что, настаивая на подобающем отношении к праху, я стремлюсь доказать этим молодым парням, что смерть отнюдь не уход в никуда, что мы продолжаем жить в памяти тех, кого мы знали. Но если говорить честно, неужели я провожу эту церемонию только ради солдат? Не хочу ли я заодно утешить и себя самого? В разговоре с лейтенантом вызываюсь взять на себя тягостную обязанность написать родителям покойных о постигшем их горе.

– Пожилому человеку о таком писать легче, – говорю я.

– А не хочешь по-другому? – спрашивает она.

Ее нога лежит у меня на коленях. Растираю и разминаю опухшую щиколотку, мысли мои где-то далеко, я загипнотизирован ритмом своих движений. Ее вопрос застает меня врасплох. Она впервые сказала об этом так недвусмысленно. Равнодушно пожимаю плечами, улыбаюсь, пытаюсь снова погрузиться в транс; сон уже манит меня, и я не желаю отвлекаться.

Нога вздрагивает, оживает и мягко тыкается мне между колен. Открываю глаза и вижу на постели ее нагое золотистое тело. Откинув голову на сплетенные руки, она следит за мной направленным в угол взглядом, к которому я уже привык, и откровенно предлагает мне свои источающие первобытное здоровье тугие груди и плоский живот. Нога продолжает поиски; но ей не найти отклика у старого расслабленного мужчины в бордовом халате, застывшего на коленях перед кроватью.

– В другой раз, – говорю я, и язык у меня заплетается, глупо спотыкаясь о каждое слово. И хотя сам я прекрасно понимаю, что это ложь, все же произношу ее: – Может быть, в другой раз. – Снимаю ее ногу с колен и кладу на постель, потом ложусь рядом. – Старикам беречь

целомудрие поздно, так что какой другой ответ я могу тебе дать? – Шутка неудачная, неуклюжая, и ей непонятно, о чем я.

– Сам-то к девушкам ходишь, – шепчет она. – Думаешь, я не знаю?

Жестом приказываю ей замолчать.

– С другими ты тоже такой, да? – шепчет она и всхлипывает.

Мне жалко ее до безумия, но я ничего не могу сделать. Как все это для нее унизительно! Она ведь даже не может быстро встать, одеться и уйти – будет долго и шумно возиться, а потом тяжело ковылять по лестнице. Жизнь ее сейчас тот же плен, что и раньше. Похлопываю ее по руке и еще глубже погружаюсь в уныние.

В эту ночь мы спим в общей постели последний раз. Я приношу в гостиную солдатскую койку и теперь сплю отдельно.

– Это временно, – говорю я. – Только до весны. Так будет лучше.

Она принимает эту отговорку молча. Когда я по вечерам возвращаюсь домой, она приносит чай и прислуживает мне, стоя на коленях. Потом возвращается на кухню. Час спустя, стуча палками, вновь поднимается по лестнице следом за девушкой, которая несет на подносе ужин. Мы вместе едим. После ужина удаляюсь в свой кабинет или ухожу из дома на весь вечер, постепенно возобновляя прежние светские развлечения: провожу время с друзьями за шахматной доской, заглядываю в трактир сыграть с офицерами в карты. Раз или два наведываюсь и на второй этаж трактира, но гложущее меня чувство вины портит все удовольствие. Когда бы я ни вернулся домой, девушка уже спит, и я, как провинившийся муж, должен ходить на цыпочках.

К новому порядку она привыкает с безропотной покорностью. Я убеждаю себя, что эта покорность рождена воспитанием. Но откуда мне знать, как варвары воспитывают своих дочерей? То, что я называю покорностью, на деле, возможно, просто безразличие. Какая разница нищенке, сироте, один я сплю или не один, если при этом у нее по-прежнему есть крыша над головой и кусок хлеба? До сих пор мне нравилось думать, что, несмотря ни на что, она видит во мне человека, охваченного страстью, пусть даже извращенной и непонятной, и что сквозь угрюмое молчание, из которого по большей части состоят наши отношения, она чувствует, как мой пристальный взгляд давит на нее всей тяжестью мужского тела. Я предпочитаю не допускать мысли о том, что, воспитывая своих дочерей, варвары, может быть, вовсе не приучают их потакать любому капризу мужчины и в том числе безропотно сносить его холодность, а, наоборот, учат воспринимать плотскую страсть как простой факт жизни, как естественно рождающееся и так же естественно находящее выход стремление всякой живой твари, будь то лошадь, или коза, или мужчина, или женщина; и потому непоследовательные поступки стареющего чужеземца, который подобрал ее на улице и приютил в своем доме, чтобы то целовать ей ноги, то унижать ее, то умащать диковинными маслами, то пренебрегать ею, то спать всю ночь в ее объятьях, то в дурном настроении спать отдельно, могут казаться ей лишь свидетельством его бессилия, нерешительности, отречения от собственных желаний. И хотя для меня она по-прежнему лишь тело – искалеченное, изуродованное, поруганное, сама она, вероятно, уже вросла в свою искореженную оболочку, стала с ней одним целым и не чувствует своей ущербности, как не чувствует ее кошка, наделенная вместо пальцев когтями. Мне не стоит с такой легкостью отмахиваться от этих мыслей. Существо куда более обычное, чем я хотел бы думать, она, возможно, не видит ничего необычного и во мне.

III

Каждое утро воздух наполнен хлопаньем крыльев: летящие с юга птицы, прежде чем обосноваться в соленых, болотистых заливах, долго кружат над озером. Порывы ветра доносят громкую разноголосицу их трубных криков, кряканья, свиста, клекота, и кажется, что рядом с нами, на воде, шумит город-соперник: серые и красные гуси, шилохвостки, утки, чирки, лутки…

Прибытие первых стай перелетных птиц – знак, подтверждающий смысл других, более ранних примет: теплой свежести ветра, стеклянной прозрачности озерного льда. Весна в пути, скоро придет время сеять.

А пока что наступила пора охоты. Рано утром, до зари, охотники идут к озеру ставить силки. И еще задолго до полудня возвращаются с богатой добычей: подвешенные за ноги к длинным шестам, птицы рядами плывут над землей, покачивая свернутыми шеями, или теснятся живые в деревянных клетках, с гневными криками клюя друг друга, и иногда, в самой гуще этой возни, тихо сидит, сжавшись в комок, большой лебедь-кликун. Природа одаривает нас из рога изобилия: несколько недель еды у всех будет вдоволь.

До отъезда я должен составить два документа. Первый – письмо, адресованное губернатору провинции. «С целью сколько-нибудь восполнить ущерб, нанесенный набегами Третьего отдела, – пишу я, – а также в надежде до некоторой степени восстановить существовавшую прежде обстановку добрососедства, я решил предпринять короткую поездку к варварам». Ставлю свою подпись и запечатываю письмо.

Что должно стать вторым документом, пока не знаю. Завещание? Мемуары? Исповедь? История тридцати лет жизни на границе? Весь тот день я отрешенно сижу за письменным столом, гляжу на чистый, белый лист и жду, когда придут слова. Второй день проходит точно так же. На третий день сдаюсь, убираю бумагу обратно в ящик и начинаю готовиться к отъезду. В этом есть своя логика: тот, кто не знает, что ему делать с женщиной, лежащей в его постели, вряд ли знает, что написать на лежащей перед ним бумаге.

В спутники я выбрал трех человек. Двое из них молодые солдаты: мой чин дает мне право пользоваться услугами двух адъютантов. Третий – мужчина постарше, родившийся в здешних краях, охотник и лошадник; ему я буду платить из собственного кармана. Накануне отъезда собираю их у себя.

– Я знаю, что для путешествия сейчас не лучшее время года, – говорю я. – Конец зимы, приближение весны – пора коварная. Но если мы будем откладывать, кочевники уйдут с зимовья, и мы их не найдем.

Ни один из них вопросов не задает. Девушке говорю просто:

– Я везу тебя назад, к твоим. Не знаю, найдем ли мы их – племена разбрелись; но, по крайней мере, постараюсь доставить тебя как можно ближе к дому.

На лице ее нет и намека на радость. Кладу рядом с ней тяжелую доху, которую я купил ей в дорогу, кроличью шапку, вышитую туземным орнаментом, новые сапоги, перчатки.

Теперь, когда я твердо решился, я сплю лучше и даже ощущаю что-то вроде душевной успокоенности.

Мы пускаемся в путь третьего марта: выезжаем за ворота и в сопровождении замурзанного

эскорта детей и собак двигаемся по дороге к озеру. Когда, миновав дамбу, мы сворачиваем с прибрежной дороги направо, на тропу, которой пользуются разве что охотники и птицеловы, наш эскорт начинает таять, и вскоре от него остаются только два упрямо плетущихся паренька, каждый из которых намерен во что бы то ни стало продержаться дольше другого.

Солнце взошло, но не греет. С озера на нас то и дело накидывается ветер, от него слезятся глаза. Четверо мужчин и одна женщина, четыре вьючных лошади – животные норовят повернуться к ветру спиной, и их приходится все время разворачивать, – мы двигаемся гуськом по извилистой тропе, и обнесенный стенами город, голые поля, а затем и два запыхавшихся мальчишки постепенно исчезают из вида.

Мой план заключается в том, чтобы по тропе обогнуть озеро с юга, потом, круто свернув на северо-восток, пересечь пустыню и добраться до предгорных долин, где зимуют северные племена. Редко кто выбирает такой путь, потому что кочевники, перебираясь со своими стадами на новые пастбища, двигаются вдоль старого мертвого русла реки широкой дугой, загибающейся с востока на юг. Но намеченный мною маршрут сократит экспедицию с шести недель до одной или двух. Сам я этой дорогой не путешествовал еще ни разу.

Итак, первые три дня мы держим курс на юг, потом забираем к востоку. Справа от нас тянутся ровные террасы изъеденной ветром глины, сливающиеся вдали с грядой рыжих облаков пыли и незаметно переходящие в желтое туманное небо. Слева гладь болот, опоясанных зарослями камышей, и озеро, где лед растаял пока только у самого берега. Дующий с ледяного простора ветер замораживает, кажется, даже наше дыхание, и вместо того чтобы ехать верхом, мы часто совершаем длинные пешие переходы, укрываясь от ветра за боками лошадей. Девушка плотно, в несколько слоев обматывает лицо шарфом и, скрючившись в седле, вслепую едет за идущим впереди.

Две вьючные лошади нагружены дровами, но эти дрова трогать нельзя, они понадобятся нам в пустыне. Однажды, по пояс увязая в наносах песка, набредаем на разросшийся, похожий на холм тамариск и, изрубив его в куски, пускаем дерево на растопку; в других же случаях мы вынуждены довольствоваться охапками сухих камышей. Девушка и я спим рядом, водной палатке, кутаясь от холода в медвежьи шкуры.

В эти первые дни мы едим сытно. Мы захватили с собой солонину, муку, бобы, сушеные фрукты, да и дичи вокруг много. Но воду нам нужно беречь. Здесь, в мелких южных заливах, болотная вода слишком соленая. Чтобы наполнить бурдюки или, что предпочтительнее, наколоть льда, кому-нибудь из мужчин каждый раз приходится заходить в озеро по колено, на двадцать, а то и тридцать шагов от берега. Но и лед, растаяв, превращается в воду, которая настолько горька и солона, что пить ее можно только с крепкой заваркой красного чая. Река, размывая берег, несет в озеро соль и щелочь, и вода в озере год от года становится солонее. Из-за того, что у озера нет сброса, содержание минеральных солей в воде постоянно растет, особенно у южного побережья, где весной и осенью наносные песчаные отмели изолируют большие участки акватории. После летнего паводка рыбаки находят в мелких заводях дохлых карпов, плавающих брюхом кверху. Окуни, говорят, уже и вовсе перевелись. Что будет с городом, если озеро в конце концов превратится в мертвое море?

Стоило нам один день попить соленый чай, и все мы, кроме девушки, начинаем страдать поносами. Меня этот недуг скрутил сильнее всех. Мне очень унизительны частые остановки, когда, прячась за лошадью, я расстегиваюсь и застегиваюсь негнущимися от холода пальцами, а другие должны ждать. Стараюсь пить как можно меньше и довожу себя до того, что мне мерещатся мучительные видения: полная до краев бочка возле колодца и брызжущая, льющаяся из черпака вода; чистый, белый снег. Мои случайные выезды на охоту, нечастые

любовные приключения и прочие, предпринимаемые лишь время от времени испытания мужественности скрывали от меня правду: тело мое стало дряблым и слабым. После долгих переходов у меня ломит кости, к вечеру так устаю, что теряю аппетит. Пока есть силы переставлять ноги, плетусь пешком, затем вскарабкиваюсь в седло и машу рукой кому-нибудь из мужчин, чтобы шел вперед и вместо меня отыскивал тропу. Ветер не утихает ни на миг. Его вой несется к нам по льду озера, он дует из ниоткуда в никуда, заволакивает небо тучей рыжей пыли. От пыли здесь не спрячешься: она пропитывает одежду, коркой оседает на коже, просачивается в кладь. Языки у нас обложены, мы часто сплевываем, на зубах хрустит. Сама среда нашего обитания состоит теперь не столько из воздуха, сколько из пыли. Мы плывем сквозь пыль, как рыба плывет сквозь воду.

Девушка ни на что не жалуется. Ест она хорошо, совершенно здорова, по ночам сворачивается в клубочек и крепко спит, отодвинувшись от меня, хотя холод такой, что я готов спать в обнимку даже с собакой. Весь день она едет в полном молчании. Однажды, подняв глаза, вижу, что она спит в седле, и лицо у нее умиротворенное, как у ребенка.

На третий день кромка болота начинает загибаться в обратную сторону, на север, и мы понимаем, что обогнули озеро. Разбиваем лагерь рано и, пока не стемнело, собираем на растопку все, что можем найти, а лошади тем временем в последний раз пасутся на скудной болотной траве. Затем, на рассвете четвертого дня, пускаемся в путь по древнему дну озера, простирающемуся за болотами еще на сорок миль.

Более унылого ландшафта мы не видели. Ничто не растет на этом белом от соли, высохшем дне, поверхность которого кое-где вспучена зазубренными кочками шестиугольных кристаллов шириной примерно в фут. Есть тут и свои опасности: пересекая необычно гладкий участок дна, лошадь, шедшая первой, внезапно проваливается сквозь корку соли и по грудь увязает в зловонной зеленой жиже; человек, который вел лошадь, на миг ошеломленно замирает, словно повиснув в воздухе, потом тоже с шумом падает в грязь. Мы прилагаем все силы, чтобы вытащить их; из-под копыт судорожно бьющейся лошади брызжут осколки соли, дыра расширяется, мерзкая вонь ползет во все стороны. Озеро не осталось позади, догадываемся мы: оно лежит у нас под ногами, в одних местах спрятанное под покровом толщиной в десятки футов, а в других – отделенное от нас лишь тонкими, ломкими пластинами соли. Сколько же лет прошло с тех пор, как солнце в последний раз озарило эти мертвые воды? Мы выбираем место понадежнее и разводим костер, чтобы обогреть дрожащего от холода беднягу и высушить его одежду. Он качает головой:

– Вот, все твердят: «Бойся зеленых прогалин», но чтоб такое – даже никогда и не видел,– говорит он.

Он – наш проводник, единственный среди нас, кто бывал к востоку от озера. После этого происшествия мы подгоняем лошадей упорнее прежнего, стремясь поскорее уйти с мертвого озера, боясь сгинуть в таящейся под землей, холодной, как лед, насыщенной минеральными солями, лишенной кислорода жидкости. Пригнув головы, мы скачем против ветра, за спиной у нас полощутся вздувшиеся плащи; мы направляем лошадей туда, где торчат игольчатые соляные кочки, и намеренно сторонимся ровных мест. Сквозь реку пыли, торжественно катящую по небу свои воды, просвечивает оранжевый апельсин солнца, но тепла от него никакого. Когда опускается темнота, вбиваем колья палаток в расщелины твердой, как камень, соли; разводим костер, сжигая дрова с безрассудной расточительностью, и, подобно морякам, молим бога дать нам скорее увидеть землю.

На пятый день дно озера остается позади и мы едем по гладким напластованиям кристаллической соли, которые вскоре уступают место песку и камню. Воскресают духом даже

лошади, хотя во время последнего перехода им досталось лишь несколько горстей льняного семени да ведро горькой воды. Силы у них заметно убыли.

Что до моих спутников, то они не ропщут. Свежее мясо у нас кончается, зато еще остаются солонина, сушеные бобы, большой запас муки и чая, то есть все то, что в основном и кормит любого путешественника. На каждом привале мы варим чай и жарим оладьи, вкуснейшее лакомство для голодных. Готовят еду мужчины: присутствие девушки их смущает, им непонятно, на каком она положении, и тем более непонятно, зачем мы везем ее к варварам, поэтому они с ней почти не разговаривают, избегают глядеть в ее сторону, а уж о том, чтобы попросить ее помочь, не может быть и речи. Я девушку ни к чему не понуждаю, надеясь, что со временем все уладится само собой. Мужчин этих я выбрал потому, что они сильные, честные и добросовестные. В суровых условиях нашего похода они следуют за мной, стараясь не унывать, хотя вселявшие своим видом отвагу полированные доспехи, в которых два молодых солдата выехали за ворота города, уже сложены в тюки и погружены на вьючных лошадей, а в ножны набился песок.

Плоская, равнинная пустыня сменяется барханами. Мы карабкаемся по их склонам вверх и вниз, продвижение вперед замедляется. Для лошадей идти здесь сущее мучение: они поминутно останавливаются, копыта у них глубоко увязают в песке. Поворачиваюсь к нашему проводнику, но он лишь пожимает плечами.

– Барханы тянутся еще много миль, мы должны через них пройти, другой дороги здесь нет.

Поднявшись на гребень бархана, загораживаю глаза от солнца и смотрю вперед, но там лишь вихрящийся песок.

В тот вечер одна из вьючных лошадей оставляет корм нетронутым. Наутро ее не может поднять на ноги даже кнут. Мы перегружаем поклажу на других лошадей и выбрасываем часть дров. Я остаюсь возле лошади, остальные трогаются в путь. Я готов поклясться, что лошадь все уже поняла. При виде ножа глаза ее закатываются. Когда струя крови фонтаном ударяет из надреза на шее, лошадь, шатаясь, поднимается из песка и, прежде чем упасть замертво, делает шаг навстречу ветру. Чтобы не погибнуть от жажды, варвары, как я слышал, отворяют своим лошадям вены. Настанет ли минута, когда мы пожалеем, что так беспечно вылили эту кровь на песок?

На седьмой день барханы наконец пройдены, и на тоскливом серо– коричневом фоне голой пустыни мы различаем вдали полосу более темного оттенка. Подойдя ближе, видим, что полоса эта тянется с запада на восток на многие мили. Видны даже черные контуры приземистых деревьев. Нам повезло, говорит наш проводник: здесь обязательно должна быть вода.

Как выясняется, перед нами дно древней озерной лагуны. Мертвые, призрачно-белые, ломкие камыши очерчивают изгибы исчезнувших берегов. Деревья это тополя – тоже давно мертвы. Умерли они много лет назад, когда подземные воды отступили так далеко, что корни больше не могли до них дотянуться.

Мы разгружаем лошадей и принимаемся копать. На глубине двух футов натыкаемся на слой твердой синей глины. Под ним снова песок, потом опять пласт глины, но она заметно мягче. Яма уходит вниз уже на семь футов, но сердце у меня бешено колотится, в ушах звенит, я вынужден отдать лопату и отойти в сторону. Трое мужчин продолжают терпеливо рыть, вытаскивая из ямы кучи земли на связанном по углам полотнище палатки.

На глубине десяти футов под ногами у них начинает проступать вода. Она пресная, в ней ни намека на соль, мы обмениваемся радостными улыбками; но вода собирается очень медленно, а кроме того, чтобы копать дальше, приходится все время расширять стенки ямы. Лишь к концу дня мы выливаем на землю остатки горькой озерной воды и заново наполняем бурдюки. Уже темнеет, когда мы опускаем в наш колодец деревянную бочку и даем напиться лошадям.

Дерева для растопки здесь в изобилии, и мужчины успевают еще засветло вырыть в глине *две разделенные перегородкой неглубокие печки и разводят над ними гудящий костер*, чтобы подсушить глину. Когда пламя унимается, они выгребают раскаленные угли, ссыпают их в отверстия печей и замешивают тесто для лепешек. Девушка наблюдает за ними, опираясь на палки, к которым я снизу привязал круглые дощечки, чтобы ей было легче шагать по песку. Сплотивший нас в этот счастливый день вольный дух товарищества и предвкушение обещанного завтра отдыха развязывает мужчинам языки. Весело пошучивая с девушкой, они впервые предлагают ей свою дружбу:

– Давай посиди с нами, попробуй, как мужики готовят!

Она в ответ улыбается и вздергивает подбородок, как делает всегда – но об этом здесь знаю, наверно, я один, – когда хочет что-то рассмотреть. Потом осторожно усаживается рядом с ними погреться в волнах идущего от печек тепла.

Я же сижу в стороне, в проеме палатки и, спрятанный от ветра, делаю очередную запись в путевом журнале, поставив рядом с собой мигающую масляную лампу; но при этом я слышу все, о чем они говорят. Пересыпанный шутками разговор идет на ломаном приграничном диалекте, и девушка без труда подыскивает нужные слова. Я поражен, как свободно, как непринужденно и спокойно она держится. На мгновенье меня даже охватывает гордость: передо мной не потаскушка на содержании у старика, а остроумная, привлекательная молодая женщина! Возможно, если бы я с самого начала научился говорить с ней на этой дурашливой, веселой тарабарщине, наши отношения были бы теплее. Но вместо того чтобы радовать ее, я, как глупец, давил на нее своей угрюмостью. Воистину миром должны править певцы и плясуны! Досада, грусть, сожаления – все это теперь напрасно, никчемно и бессмысленно! Задуваю лампу, подпираю голову рукой, смотрю на огонь и слушаю, как у меня бурчит в животе.

Сплю тяжелым сном вконец изнуренного человека. Когда она приподнимает край огромной медвежьей шкуры и прижимается ко мне, я лишь на миг всплываю из глубин сна. «Дети по ночам мерзнут»,– вот все, что мелькает в моем затуманенном сознании; притягиваю ее к себе, обнимаю одной рукой, и дремота опять убаюкивает меня. Вероятно, несколько минут я снова крепко сплю. Затем резко выныриваю из сна и чувствую, как ее рука шарит под моей одеждой, а ее язык щекочет мне ухо. По телу пробегает сладкая дрожь, я зеваю, потягиваюсь и улыбаюсь в темноту. «Ну и что? – думаю я. – А вдруг мы погибнем в этом забытом богом краю? Уж лучше так, чем умирать жалкой, голодной смертью!» Под грубой курткой на ней ничего нет. Теплая, мягкая, она готовно раскрывается мне навстречу; еще мгновенье, и пяти месяцев глупой нерешительности будто никогда не было, а потом я вновь погружаюсь в забытье.

Когда я просыпаюсь, то настолько ничего не осознаю, что меня охватывает ужас. Лишь усилием воли мне удается заново отыскать свое место во времени и пространстве, вернуть себя в постель, в палатку, в ночь, в жизнь, в тело, вытянувшееся ногами на запад, головой на восток. Хотя я придавил ее всей своей тяжестью, как мертвый бык, девушка спит, руки ее вяло сомкнуты у меня на спине. Высвобождаюсь, поправляю прикрывающую нас шкуру и стараюсь сосредоточиться. Нет, я даже на миг не представляю себе, что на заре мог бы свернуть лагерь, двинуться назад в оазис и, обосновавшись в залитом солнцем особнячке, доживать остаток

дней с молодой женой, мирно спать у нее под боком, воспитывать ее детей и созерцать, как зимы сменяются веснами. И меня не коробит от мысли, что не будь вчерашнего вечера, не проведи она его у костра с молодыми мужчинами, ее скорее всего не потянуло бы ко мне. Возможно,– да, наверно, так оно и есть,– лежа в моих объятьях, она отдавала себя одному из них. Придирчиво вслушиваюсь в отголоски эха, раскатившегося во мне от этой мысли, но что-то не замечаю, чтобы сердце рывком ускорило ход, давая мне понять, что самолюбие мое уязвлено. Она спит; моя рука поглаживает ее живот, скользит по ее бедрам. Свершилось. Я рад. Но в то же время допускаю, что не жди нас скорая разлука, ничего бы и не произошло. И если говорить откровенно, наслаждение, которым она меня одарила, наслаждение, слабый отсвет которого еще согревает мою ладонь, не столь уж безгранично. Когда я прикасаюсь к ней, сердце мое, как и прежде, не замирает, кровь, как и прежде, не стучит в виски. Меня удерживают рядом с ней не грезы о блаженстве, не предвкушение восторгов, а причины совсем другого свойства, так до сих пор мною и не разгаданные. Хотя, конечно, я уже понял, что в темноте постели легко забыть о метах, оставленных на ее теле палачами: об ее изуродованных ногах, о полуслепых глазах. Так, может быть, виной всему телесное несовершенство этой женщины, и, пока ее изъяны не исчезнут, пока она не обретет вновь свой прежний облик, мое наслаждение не станет полным; или, может быть (я все же не настолько глуп, и позвольте уж, скажу до конца), меня влекут к ней именно эти метины, но я разочарован тем, что следы пережитого, оказывается, уходят не слишком глубоко? Велика моя цель или ничтожна: что будит во мне страсть – эта женщина или следы истории, которые несет на себе ее тело? Я неподвижно лежу, уставившись в черный мрак, – он кажется непроглядным, но я знаю, что стоит вытянуть руку, и упрешься в крышу палатки. Как ни парадоксальны формулы, которые подсказывает мне ум в попытке определить природу моей страсти, ни одна из них, похоже, не способна вывести меня из оцепенения. «Должно быть, я устал, – думаю я. – Или, может быть, определению поддается лишь то, что представляется в ложном свете?» Шевеля губами, я молча составляю фразы, меняю слова местами. «Или, может быть, это тот самый случай, когда необходимо принять как данность лишь то, что не поддается определению?» Мысленно рассматриваю последнюю гипотезу, но она не вызывает во мне отклика, я не стремлюсь ни согласиться с ней, ни отвергнуть ее. Выстроившиеся перед глазами слова постепенно сливаются одно с другим; и вот они уже потеряли всякий смысл. Вздыхаю: кончился долгий день, прошла половина долгой ночи. Потом поворачиваюсь к девушке, обнимаю ее, крепко прижимаю к себе. Она во сне посапывает, и я тоже вскоре засыпаю.

Весь восьмой день мы отдыхаем, потому что лошади совсем обессилели, вид их поистине жалок. Они с жадностью грызут иссохшие волокнистые стебли мертвых камышей. От воды животы у них раздулись, и они то и дело громко пускают газы. Мы скармливаем им остатки льняного семени и даже выделяем из наших запасов немного хлеба. Если через день-два мы не набредем на пастбище, они погибнут.

Оставив за спиной наш колодец и кучу выкопанной земли, мы снова движемся на север. Все, кроме девушки, идут пешком. Чтобы лошадям было не так тяжело, мы сняли с них и побросали в песок все, без чего можем обойтись; но без огня нам не выжить, и лошади вынуждены по-прежнему тащить на себе увесистые вязанки дров.

– Когда покажутся горы? – спрашиваю я у проводника.

– Через день. А может, через два. Трудно сказать. Я в этих местах не бывал. – Он охотится вдоль восточного побережья озера и по краю пустыни, а ходить через всю пустыню в другой ее конец ему незачем. Выжидательно молчу, чтобы он мог сказать то, что думает, но лицо его остается невозмутимым, наше положение не внушает ему тревоги. – Горы мы увидим скорее всего через два дня, и еще один день уйдет, чтобы до них добраться. – Щурясь, он вглядывается в коричневую дымку, заволакивающую горизонт. Что мы будем делать, когда доберемся до гор,

он не спрашивает.

Плоская, покрытая галькой пустошь кончается, и по скалистым уступам мы спускаемся на лежащее внизу плато. Навстречу все чаще попадаются кустики жухлой зимней травы, и лошади яростно на них набрасываются. Мы глядим, как они едят, и облегченно вздыхаем.

Среди ночи просыпаюсь, как от толчка, со зловещим предчувствием беды. Девушка приподнимается и садится в постели.

– Что случилось? – спрашивает она.

– Ты слышишь? Ветер затих.

Босиком, закутавшись в мех, она следом за мной выползает из палатки. Под туманной полной луной земля простирается во все стороны белым ковром. Помогаю девушке встать на ноги, поддерживаю ее и, замерев, гляжу в пустоту, откуда медленно сеется снег, – оглохшие за неделю от непрестанного шума ветра, мы осязаем тишину всем своим существом. Из второй палатки выходят мужчины и встают рядом с нами. Мы по-детски улыбаемся друг другу.

– Весенний снег, – говорю я. – Последний снегопад в году.

Они кивают. Неподалеку, отряхиваясь, громко всхрапывает лошадь, и мы вздрагиваем.

В тепле занесенной снегом палатки снова притягиваю к себе девушку. Она равнодушно подчиняется. Я уверен, что верно угадываю миг, когда она готова принять меня; обнимаю ее с молодой полнокровной страстью, испытывая всю остроту наслаждения; но потом вдруг чувствую, что ощущение гармонии потеряно, и моя страсть мало-помалу угасает. Интуиция явно стала меня подводить. И все равно в душе моей по-прежнему теплится нежность к этой девушке, которая уже крепко спит, положив голову мне на плечо. Ничего, наверстаю в другой раз, а если другого раза не будет, то, думаю, тоже не очень огорчусь.

Голос зовет меня сквозь проем палатки:

– Ваша милость, проснитесь.

Смутно сознаю, что проспал. Все из-за тишины думаю я; от этой тишины нас словно разморило.

Выйдя из палатки, окунаюсь в дневной свет.

– Посмотрите, – говорит разбудивший меня солдат и показывает на северо-восток. – Погода портится.

По снежной равнине в нашу сторону катится гигантский черный вал. Нас пока отделяют от него многие мили, но уже сейчас видно, как сужается полоса еще не сожранной им земли. Гребень вала скрыт темными тучами.

– Буря! – кричу я. Ничего страшнее я еще не видел. Мужчины бегут снимать свою палатку.– Соберите лошадей вместе и привяжите! – До нас уже долетают первые порывы ветра, снег начинает змейками виться по земле, и снежная пыль взлетает в воздух.

Опираясь на палки, девушка стоит рядом со мной.

– А ты-то видишь хоть что-нибудь? – спрашиваю я.

Привычно скосив голову, она вглядывается в даль и утвердительно кивает. Мужчины принимаются разбирать вторую палатку.

– Значит, все-таки снег был плохой приметой!

Она не отвечает. Хотя я понимаю, что должен помогать остальным, мне не оторвать взгляда от огромной рокочущей черной стены, которая надвигается на нас со скоростью мчащейся во весь опор лошади. Ветер усиливается, нас качает; знакомый вой снова вторгается в уши.

– Быстрее; быстрее! – командую я и хлопаю в ладоши. Один из мужчин, стоя на коленях, складывает полотнище палатки, сворачивает войлочные подстилки, увязывает в узлы постель; двое других сгоняют лошадей в центр лагеря.

– Сядь! – кричу я девушке и, спотыкаясь, бегу укладывать вещи. Ураган из сплошной черной стены превратился в крутящееся месиво песка, снега и пыли. Вой ветра переходит в пронзительный вопль, у меня срывает с головы шапку, и буря разом накрывает нас. Опрокидываюсь навзничь, но ветер тут не виноват, меня сшибла сорвавшаяся с привязи лошадь: она ошалело носится вокруг, уши прижаты, глаза выкачены.– Поймайте ее! – кричу я. Но мой крик – лишь слабый шепот, я и сам себя не слышу. Лошадь исчезает, как растаявший мираж. В тот же миг наша палатка вихрем взмывает в небо. Бросаюсь на свернутые войлочные подстилки, прижимаю их к земле и рычу от злости. Потом на четвереньках, таща за собой подстилки, пробираюсь назад, к девушке. Это все равно что плыть против течения. Глаза, нос, рот сразу же забивает песком; чтобы набрать в легкие воздуха, задираю голову.

Разведя руки, как крылья, девушка удерживает двух лошадей за шеи. Она, кажется, что-то говорит им: хотя глаза у них бешено блестят, лошади стоят смирно.

– Наша палатка улетела! – кричу я ей в ухо и машу рукой, показывая на небо. Она поворачивается: под шапкой на ней намотан черный шарф, закрывающий все лицо; не видно даже глаз. – Палатка улетела! – снова кричу я. Она молча кивает.

Сбившись в кучу, мы пять часов укрываемся за грудой дров и за лошадьми, а ветер хлещет нас снегом, градом, дождем, песком, пылью. От холода ноют кости. С подветренной стороны на боках лошадей запеклась корка льда. Мы теснее жмемся друг к другу – люди и животные, все вместе, – делясь своим теплом и стараясь, продержаться.

Затем, в середине дня, ветер стихает так внезапно, будто где-то захлопнули дверь. В ушах звенит от непривычной тишины. Нужно скорее размять затекшие руки и ноги, почиститься, навьючить лошадей, нужно заняться чем угодно, лишь бы разогнать застывшую кровь, но у нас только одно желание: еще хоть немного полежать в нашем логове. Эта сонливость коварна!

Голос у меня надсадно скрипит:

– Вставайте, надо грузиться!

Бугры в песке подсказывают, где захоронены наши разбросанные вещи. Сколько мы ни ищем, от улетевший палатки не осталось и следа. С нашей помощью лошади, хрустя суставами, поднимаются на ноги, и мы их навьючиваем. Холод недавней бури ничто в сравнении с холодом, который приходит ему на смену и словно окатывает нас ледяной водой. Дыханье инеем оседает на лице, нас колотит дрожь. Лошадь, идущая первой, шатаясь, делает три неуверенных шага и тяжело оседает на задние ноги. Мы скидываем с нее вязанки дров, подпихиваем ей под живот шест, поднимаем ее и гоним вперед ударами кнута. Уже в который раз кляну себя за то, что затеял трудный поход с малоопытным проводником да еще в такое

предательское время года.

Десятый день: потеплело, небо расчищается, ветер стал мягче. Мы тащимся по равнине, как вдруг наш проводник что-то кричит и показывает рукой вперед. «Горы!» – думаю я, и сердце у меня екает. Но проводник увидел вовсе не горы. Появившиеся вдали пятнышки – это люди, люди верхом на лошадях: кто, как не варвары! Поворачиваюсь к девушке – она сидит на устало плетущейся лошади, которую я веду за собой.

– Почти пришли, – говорю я. – Там впереди какие-то люди, и мы скоро узнаем, кто они.

Тяжесть, скопившаяся на душе за эти дни, отпускает меня. Оставив девушку, быстрым шагом перехожу в голову отряда, и мы берем курс на три чернеющие вдали крохотные фигурки.

Лишь через полчаса мы понимаем, что, несмотря на все усилия, не приблизились к ним ни на шаг. Они двигаются с той же скоростью, что и мы. «Нарочно не обращают на нас внимания»,– думаю я и решаю развести костер. Но едва командую остановиться, три пятнышка вроде бы тоже останавливаются; когда же мы снова трогаемся, они тоже пускаются в путь. «Может быть, это лишь игра света, и они просто наше отражение»,– размышляю я. Сократить расстояние между нами мы не можем. Давно ли они нас преследуют? Или, может быть, они считают, что это мы преследуем их?

– Хватит, – говорю я своим спутникам. – Гнаться за ними бессмысленно. Проверим, как они себя поведут, если к ним поедет только один из нас.

И, взяв у девушки лошадь, я в одиночестве выезжаю навстречу незнакомцам. Некоторое время они, кажется, не трогаются с места, наблюдают и ждут. Но потом силуэты их начинают отдаляться, превращаясь в точки, поблескивающие в мутной кромке горизонта. Как ни подгоняю лошадь, она слишком ослабела и из нее не выжать ничего, кроме мелкой трусцы. Я отказываюсь от погони, спешиваюсь и жду, когда подъедут остальные.

Чтобы сберечь силы лошадей, мы делаем переходы все короче и короче. Сегодня мы разбиваем лагерь, пройдя по плоской каменистой местности не более шести миль, и все это время впереди нас, ни разу не исчезая из вида, скачут три всадника. Даем лошадям часок пощипать редкие клочки низкой худосочной травы, потом привязываем их возле палатки и выставляем дозорного. Опускается ночь, в туманном небе появляются звезды. Мы долго сидим у костра, нежимся в тепле, с у довольствием вытянув ноющие от усталости ноги, и нам не хочется забиваться тесной кучей в единственную палатку. Повернувшись на север, всматриваюсь в темноту и готов поклясться, что различаю вдали отблеск другого костра; но пока я пытаюсь показать его остальным, ночная тьма сгущается в непроницаемую черноту.

Мужчины, все трое, вызываются спать под открытым небом и нести дозор по очереди. Я растроган.

– Не стоит, – говорю я. – Подождем несколько дней, пусть потеплеет.

Спим мы урывками: в палатку, рассчитанную на двоих, нас втиснулось четверо, девушка скромно лежит с самого края.

Поднимаюсь до зари и опять смотрю на север. Розовато-лиловое предрассветное небо начинает золотиться, И на голом лице равнины вновь проступают темные пятнышки, но их уже не три, а восемь… девять… десять… может быть, даже двенадцать.

Привязываю к шесту белую льняную рубаху и, подняв над головой этот самодельный флаг,

скачу навстречу незнакомцам. Ветер стих, день ясный, по дороге снова считаю: двенадцать фигурок застыли на склоне небольшого холма, а далеко за ними угадывается призрачная синева гор. Потом, на моих глазах, фигурки оживают. Они выстраиваются в шеренгу и, как муравьи, ползут вверх по склону. На вершине холма они останавливаются. Облачко пыли ненадолго скрывает их от меня, потом они появляются снова: двенадцать всадников, замерших на линии горизонта. Продолжаю ехать вперед, белый флаг хлопает у меня за спиной. Я не свожу глаз с холма, но мне все равно не удается уловить тот миг, когда они исчезают.

– Не будем обращать на них внимания,– говорю я своему отряду. Мы вновь навьючиваем лошадей и продолжаем двигаться в сторону гор. Хотя поклажа с каждым днем становится легче, всякий раз, как приходится подгонять изнуренных лошадей кнутом, сердце разрывается от боли.

У девушки подошел срок месячных. Скрыть свое недомогание она не может, все мы постоянно вместе, и спрятаться ей некуда, вокруг ни кустика. Ей не по себе, мужчинам – тоже. Старая история: женская кровь – плохая примета, предвещающая скудный урожай, неудачную охоту, порчу скота. Мужчины мрачнеют: им бы хотелось, чтобы девушка держалась от лошадей подальше, но это невозможно; кроме того, они не желают, чтобы она прикасалась к их пище. От стыда она замыкается в себе и вечером не садится с нами за ужин. Поев, я накладываю в миску бобов и клецек и отношу их девушке в палатку.

– Зря ты это делаешь, – говорит она. – Мне ведь сейчас даже в палатке быть не положено. Но уйти-то больше некуда. – То, что ее подвергли остракизму, она принимает как должное.

– Ничего страшного. – Глажу ее по щеке, присаживаюсь рядом и смотрю, как она ест.

Было бы напрасно уговаривать мужчин ночевать вместе с ней в палатке. Они остаются у костра, поддерживают огонь и по очереди несут дозор. Утром, ради их спокойствия; совершаю вместе с девушкой короткий ритуал очищения (я ведь осквернил себя тем, что спал в ее постели): палкой провожу на песке черту, заставляю девушку переступить через нее, потом мы с ней моем руки и я веду ее через черту обратно, в лагерь.

– Завтра утром ты должен повторить это еще раз, – шепчет она.

За двенадцать дней пути мы с ней близились больше, чем за несколько месяцев, прожитых под одной крышей.

Мы уже достигли подножья гор. Таинственные всадники скачут далеко впереди по извилистому руслу высохшего ручья. Мы отказались от попыток догнать их. Мы теперь понимаем, что, следя за нами, они в то же время ведут нас за собой.

Углубляясь в скалистые холмы, двигаемся все медленнее и медленнее. Когда мы не видим всадников вовремя привалов или когда их скрывают от нас излучины сухого русла, мы уже не боимся, что они исчезнут навсегда.

Уговаривая, понукая и подталкивая лошадей, тяжело взбираемся на очередную кручу и вдруг оказываемся прямо перед ними. Они возникают из-за скал, выехав из невидимой лощины: мужчины верхом на косматых пони, те двенадцать и еще несколько, одетые в овчинные кафтаны и меховые шапки, смуглые, с обветренными лицами, узкоглазые – варвары во плоти, на своей родной земле. Я стою так близко, что чувствую их запах; от них пахнет конским потом, дымом, сыромятной кожей. Один из них направляет на меня старинный мушкет, длиной почти в человеческий рост, с приделанной к ложу раздвоенной подставкой для упора. Сердце у меня замирает. «Нет»,– шепчу я; тщательно избегая резких движений, отпускаю поводья

плетущейся за мной лошади и показываю, что в руках у меня ничего нет. Потом так же осторожно поворачиваюсь, поднимаю с земли поводья и, оступаясь и скользя по каменистой осыпи, спускаюсь с лошадью на тридцать шагов вниз, туда, где застыли в ожидании мои спутники.

Варвары стоят над нами на скале, четко очерченные на фоне неба. Слышны только стук моего сердца, сопенье лошадей и стоны ветра. Мы вышли за пределы владений Империи. Серьезность этой минуты не следует недооценивать.

Помогаю девушке спешиться.

– Слушай внимательно. Сейчас я отведу тебя наверх, и ты сможешь с ними поговорить. Захвати свои палки, земля здесь осыпается, а в обход не подняться. Когда поговоришь с ними, то сама решишь, как быть дальше. Если они возьмутся доставить тебя к родным и если ты захочешь идти с ними – иди. А решишь вернуться в город – пойдешь с нами. Ты поняла? Я тебя ни к чему не принуждаю.

Девушка молча кивает. Она очень волнуется. Обхватив ее одной рукой за пояс, помогаю ей карабкаться по усыпанному галькой склону. Варвары неподвижно стоят на месте.

Длинноствольными мушкетами вооружены только трое, у остальных знакомые мне короткие луки. Когда мы поднимаемся на вершину скалы, они чуть отступают назад.

– Ты их видишь? – спрашиваю я, тяжело дыша.

Привычным, словно неосознанным движением она поворачивает голову куда-то вбок:

– Вижу, но плохо.

– «Слепая»… Как будет «слепая»? Она говорит.

– Слепая, – обращаясь к варварам, произношу я и притрагиваюсь пальцами к векам. Варвары никак не отзываются. Дуло, замершее между ушами пони, по-прежнему нацелено мне в грудь. Глаза у хозяина мушкета весело поблескивают. Пауза затягивается.

– Поговори с ними,– прошу я девушку.– Объясни, почему мы здесь. Скажи им правду.

Она искоса глядит на меня и едва заметно улыбается.

– Ты в самом деле хочешь, чтобы я сказала им правду?

– Да, конечно. А что другое ты можешь сказать?

Улыбка продолжает играть на ее губах. Она качает головой и молчит.

– Хорошо, говори что угодно. Ты видишь, я сделал все, чтобы привезти тебя поближе к твоим, но сейчас я вполне искренне прошу: вернись со мной в город. По своей воле.– Сжимаю ее руку.– Ты понимаешь? Мне этого очень хочется.

– Почему? – роняет она тихим, безжизненным голосом. Она знает, что вопрос этот ставит меня в тупик, что я с самого начала бьюсь над ним, не находя ответа. Всадник с мушкетом медленно выезжает вперед и приближается к нам почти вплотную. Она мотает головой: – Нет. В город возвращаться я не хочу.

Спускаюсь вниз.

– Разведите костер, поставьте чай, – приказываю я мужчинам. – Мы здесь остановимся. – Сверху до меня долетает голос девушки, журчащий поток, прерываемый лишь порывами ветра. Она стоит, опираясь напалки; всадники спешиваются и окружают ее. Я не понимаю ни слова. «Какая досада! – думаю я.

– Столько вечеров пропало впустую, а она могла бы научить меня своему языку. Но теперь уже поздно».

Из седельного вьюка достаю два серебряных блюда, которые провез с собой через всю пустыню. Снимаю обертку с рулона шелка.

– Возьми от меня в подарок. – Направляю руку девушки, чтобы ее пальцы ощутили мягкость шелка и прочли на серебре резной узор из переплетенных листьев и рыб. Ее узелок я тоже довез в сохранности. Что в нем, я не знаю. Кладу все на землю.– Они доставят тебя к твоим?

Она кивает.

– Он говорит, к середине лета доберемся. И еще говорит, чтобы ты отдал им одну лошадь. Для меня.

– Скажи ему, что у нас впереди долгий и тяжелый путь. Наши лошади совсем плохи, он же видит. Спроси, может, он сам согласится продать нам одну лошадь. Скажи, что мы заплатим серебром.

Молча жду, пока она переводит мои слова старику. Его спутники спешились, но старик продолжает сидеть на лошади, большущий старинный мушкет висит на ремне у него за спиной. Стремена, седла, уздечки, поводья – все без единой металлической заклепки или бляхи, только костяные пластинки и обожженные деревяшки, прошитые жилами и привязанные кожаными тесемками. Тела под одеждами из шерсти и шкур с младенчества вскормлены молоком и мясом, им неведомы обволакивающая легкость тканей из хлопка, достоинства мягких злаков и фруктов – вот какой он, этот народ, который Империя, расширяясь, оттесняет с равнин в горы. Я впервые вижу северян на их собственной земле, впервые говорю с ними на равных; до сих пор мне были знакомы лишь те варвары, что приезжают в наш оазис торговать, и одиночки, разбивающие шатры вдоль реки, да еще разве что жалкие пленники Джолла. И вот сегодня я здесь – какое великое событие и какой великий позор! Когда– нибудь мои преемники будут собирать остатки материальной культуры, созданной этим народом: наконечники стрел, резные рукоятки ножей, деревянную посуду – и выставят все это под стеклом рядом с моими коллекциями птичьих яиц и каллиграфических головоломок. Я же сейчас пытаюсь хоть как-то подправить порушенные отношения между людьми будущего и людьми прошлого, с извинениями возвращая тело, из которого мы выпили всю кровь, – посредник, преданный Империи волк в овечьей шкуре!

– Он говорит: «нет».

Вынимаю из сумки маленький серебряный слиток и протягиваю старику.

– Скажи, это ему за одну лошадь.

Он нагибается, берет поблескивающий брусок и недоверчиво пробует его на зуб; затем слиток исчезает у него за пазухой.

– Он говорит: «нет». Это – за то, что он не возьмет лошадь. Он не будет брать мою лошадь, вместо нее он берет серебро. .

С трудом подавляю ярость; но что толку торговаться? Она вот-вот уедет, еще немного, и ее здесь не будет. У меня последняя возможность увидеть ее перед собой воочию, внимательно вслушаться в голос моего сердца, попытаться уразуметь, какая же она на самом деле, потому что отныне – я это понимаю – мне предстоит воссоздавать ее образ по воспоминаниям, выбирая из них то, что отвечает моим сомнительным прихотям. Глажу ее по щеке, беру за руку. В этот предполуденный час, стоя рядом с ней на унылом каменистом склоне, я напрасно ищу в себе хотя бы отзвук дурманящего вожделения, что влекло меня к ней ночь за ночью, в душе моей не осталось следа даже от дружеской привязанности, возникшей между нами за время пути. Только пустота и отчаяние оттого, что эта пустота так безмерна. Сжимаю ее руку сильнее, но в ответ – ничего. Еще отчетливее, чем прежде, я вижу перед собой лишь то, что видят мои глаза: коренастая большеротая девушка с неровной челкой на лбу глядит поверх моего плеча в небо; чужая; гостья из чужих краев, возвращающаяся домой после более чем безрадостного визита.

– Прощай,– говорю я.

– Прощай.– Голос у нее такой же мертвый, как у меня.

Начинаю спускаться со скалы; дойдя до подножья, оборачиваюсь и смотрю наверх: они уже взяли у нее палки и помогают ей взобраться на пони.

Не берусь ручаться, но, кажется, весна началась по-настоящему. В воздухе разлито благоухание, здесь и там целятся в небо зеленые стрелы молодой травы, стайки перепелов шумно вспархивают у нас из-под ног. Выйди мы из оазиса не две недели назад, а сейчас, путешествие не тянулось бы так долго и не было бы столь опасным. Но с другой стороны, неизвестно, посчастливилось ли бы нам найти варваров. Они в эти минуты, я уверен, уже сворачивают шатры, грузят повозки и сгоняют свой скот в стада, готовясь к весеннему кочевью. Нет, решившись на риск, я был прав, хотя понимаю, что спутники клянут меня. (Я будто слышу их сердитую воркотню: «Очень было нужно тащить нас сюда зимой! Дураки мы, что согласились!» И что же они должны думать теперь, когда догадались, что мои намеки насчет посольской миссии нашего похода – обман, а на деле они всего лишь охраняли в дороге самую обыкновенную женщину, нищенку, которую варвары бросили в городе, бродягу без роду и племени, потаскуху, ублажавшую судью?) На обратной дороге мы стараемся ни на шаг не отклоняться от прежнего маршрута и идем, ориентируясь по звездам, расположение которых я предусмотрительно нанес на карту. Ветер больше не дует нам в лицо, погода стала теплее, лошади навьючены гораздо легче, мы знаем, где находимся, ничто, казалось бы, не мешает нам двигаться быстро. Но в первый же вечер, едва мы делаем привал, возникает осложнение. Мои спутники подзывают меня к костру, и я вижу, что один из двух молодых солдат удрученно сидит у огня, закрыв лицо руками. Его сапоги стоят рядом, портянки размотаны.

– Посмотрите, что у него с ногой, – говорит проводник.

Правая ступня у парня распухла и покраснела.

– Что случилось? – спрашиваю я.

Солдат приподнимает ногу и показывает мне пятку, вымазанную запекшейся кровью и гноем. Даже сквозь смрад грязных портянок я чувствую запах гнили.

– И давно у тебя так? – кричу я. Он прячет глаза.– Почему ты сразу не сказал? Разве я не предупреждал, что ноги нужно держать в чистоте, что вы обязательно должны менять

портянки через день и стирать их, а мозоли смазывать мазью и бинтовать? Думаете, я это зря говорил? Как ты с такой ногой собираешься идти дальше?

Парень молчит.

– Он не хотел, чтобы мы из-за него задерживались, – шепчет его товарищ.

– Не хотел нас задерживать, а теперь придется до самого города везти его на лошади! – кричу я. – Вскипятите воду, пусть про моет ногу и как следует забинтует!

Я оказываюсь прав. Когда на следующее утро ему помогают встать, он не в силах скрыть мучительной боли. Поврежденную ногу он забинтовал и сверху обвязал мешком; пока мы идем по ровной местности, он еще кое-как поспевает за нами, но большую часть пути вынужден ехать верхом.

Мы все будем счастливы, когда это путешествие кончится. Мы устали друг от друга.

На четвертый день мы видим перед собой мертвую лагуну и несколько миль идем по ее дну на юго-восток, пока не выходим к нашему колодцу, окруженному рощицей голых тополиных стволов. Там мы один день отдыхаем, набираясь сил перед самым тяжелым переходом. Жарим про запас оладьи, остаток бобов варим до тех пор, пока они не превращаются в кашу.

Я держусь особняком. Мои спутники тихо переговариваются между собой, но едва я подхожу ближе, замолкают. Они бесповоротно утратили прежний живой интерес к нашей экспедиции: не только потому, что их разочаровала сама кульминация похода – никчемные переговоры в пустыне, а вслед за тем возвращение назад той же дорогой, – но и потому, что присутствие девушки побуждало их проявлять свои мужские качества, вызывало между ними товарищеское соперничество, а теперь все это переродилось в мрачную раздражительность, и они поневоле злятся на меня за то, что я вовлек их в эту дурацкую затею; на лошадей, за их упрямство; на парня с больной ногой, за то, что из-за него мы еле плетемся; на громоздкое оружие, которое им приходится тащить; и даже на самих себя. Я первым подаю пример и стелю себе постель у костра, предпочитая холод под ночными звездами удушливому теплу палатки и обществу трех раздраженных людей. На следующий вечер никто не предлагает натянуть палатку, и все мы спим на воздухе.

К седьмому дню мы уже наполовину преодолели солончаки. В дороге теряем еще одну лошадь. Однообразная пища – бобы и оладьи – всем надоела, и меня просят пустить павшую лошадь на мясо. Разрешаю, но сам в разделке туши не участвую.

– Я пойду с лошадьми вперед, – говорю я. Пусть попируют в свое удовольствие. Пусть, пока меня нет рядом, беспрепятственно дадут волю фантазии, пусть думают, что это в мое горло вонзаются их ножи, что это мои кишки вытягивают они из брюха, что это мои кости хрустят под их топорами. Зато потом, может быть, станут относиться ко мне добрее.

Меня томит желание скорее вернуться к привычной монотонности моих повседневных дел, я думаю о приближающемся лете, о долгих дремотных сиестах, о беседах с друзьями в сумерках, когда мальчишки разносят под ореховыми деревьями чай и лимонад, а незамужние девушки парам и или по трое прогуливаются перед нами по площади, разодевшись в свои лучшие наряды. Лишь несколько дней назад я расстался с той, другой, но, воскрешая в памяти ее лицо, явственно вижу, как оно затвердевает, мутнеет, становится непроницаемым, словно выделяя из своих пор вещество, застывающее роговой оболочкой. Тяжело шагая по солончаку, вдруг с удивлением ловлю себя на мысли, что и сам не понимаю, как мог любить кого-то из столь далекого, чужого царства. Сейчас мне хочется лишь одного: дожить свою жизнь в покое, в

знакомом мне мире, умереть в собственной постели и сойти в могилу, над которой со мной простятся старые друзья.

До города еще целых десять миль, но мы уже различаем вдали силуэты сторожевых башен; мы все еще двигаемся по тропе вдоль южного побережья озера, но коричневатая желтизна городских стен уже не сливается с серым фоном пустыни. Поглядываю через плечо на моих спутников. Они тоже убыстрили шаги еле скрывают радость. Три недели мы не мылись и не меняли белья, от нас плохо пахнет, ветер и солнце иссушили наши лица и исполосовали их черными морщинами, мы обессилены, но идем вперед, как мужчины; даже парнишка с замотанной ногой и тот сейчас спешился и шагает вместе со всеми, выпятив грудь колесом. Да, все могло быть и хуже – вероятно, могло быть и лучше, но то, что могло быть хуже, это несомненно. Даже лошади, бредущие с раздутыми от болотной травы животами, похоже, повеселели.

На полях зеленеют первые весенние побеги. До нас доносятся писклявые звуки трубы; из ворот выезжает высланный навстречу отряд, шлемы всадников сверкают на солнце. Мы же своим видом напоминаем огородные пугала: надо было все-таки приказать солдатам пройти эти последние несколько миль в доспехах. Наблюдаю, как всадники рысью приближаются к нам, и жду, что они вот-вот перейдут на галоп, будут стрелять в воздух и кричать «ура». Но они продолжают держаться весьма по-деловому, и я начинаю догадываться, что их выслали вовсе не для торжественной встречи, да и дети за ними не бегут; отряд разделяется пополам, и всадники окружают нас, я не вижу среди них ни одного знакомого лица, глаза у них жесткие; не отвечая на мои вопросы, они гонят нас, как пленных, сквозь открытые ворота. И лишь на площади, когда мы видим палатки и слышим разноголосый гул, нам все становится понятно: в город вошли войска, обещанная кампания против варваров уже развернута.

IV

В судейском кабинете за моим столом сидит какой-то человек. Я никогда его раньше не видел, но значок на лацкане сиреневатого мундира подсказывает мне, что он сотрудник Третьего отдела Гражданской Охраны. На столе груда коричневых папок с розовыми тесемками, одна из папок раскрыта и лежит перед ним. Я узнаю эти папки: в них финансовые отчеты и налоговые ведомости пятидесятилетней давности. Неужели он действительно их изучает? Что он ищет?

Нарушаю молчание:

– Может быть, я сумею вам чем-то помочь?

Он даже не смотрит в мою сторону, а два сторожащих меня солдата застыли, словно деревянные. Я нисколько не в претензии. После трехнедельного путешествия по пустыне совсем не трудно немного постоять на месте. Да и к тому же меня подбадривает восторженное предчувствие, что моей лицемерной дружбе с Третьим отделом, кажется, будет положен конец.

– Могу я поговорить с полковником Джоллом? Что называется, выстрел вслепую: кто сказал, что полковник Джолл вернулся?

Он не отвечает и продолжает притворяться, будто читает документы. У него приятная внешность: ровные белые зубы, чудесные голубые глаза. Но, по-моему, он человек тщеславный. Мысленно представляю, как он садится в постели, поигрывая мускулами перед лежащей рядом девушкой, и упивается ее восхищением. Он, мне кажется, из тех мужчин, которые управляют своим телом, как механизмом, не понимая, что тело живет по собственным законам. Когда он на меня посмотрит – что сейчас и произойдет, – его красивое неподвижное лицо и эти ясные

глаза скроют за собой обращенный ко мне взгляд, как маска скрывает от публики обращенный к ней взгляд актера.

Он отрывается от бумаг. Все, как я думал.

– Где вы были? – спрашивает он.

– Я предпринял одну длительную поездку. Мне весьма досадно, что вы прибыли в мое отсутствие и я не мог оказать вам должного гостеприимства. Но теперь я вернулся и целиком к вашим услугам.

На нем унтер-офицерские погоны. Унтер-офицер из Третьего отдела – что это такое? Приблизительно пять лет жестоких издевательств над людьми; презрительное отношение к обычной полиции и установленному судопроизводству; отвращение к непринужденно-учтивой манере разговора, вроде той, что присуща мне. Но может быть, я несправедлив к нему – в конце концов, я слишком давно не был в столице.

– Вы поддерживаете измеллнические связи с врагом, – говорит он.

Вот все и ясно. «Измеллнические связи» – очень книжное выражение.

– Мы здесь живем в мире, – говорю я, – и никакого врага у нас нет.

– Он молчит. – Если, конечно, я не ошибаюсь, – добавляю я. – Если, конечно, этот враг не мы сами. .

Я не уверен, что он меня понял.

– Варвары ведут против нас войну,– говорит он. Не сомневаюсь, что за свою жизнь он не видел ни одного варвара. – Почему вы поддерживаете с ними связи? Кто вам разрешил покинуть ваш пост?

Не давая поймать себя в эту ловушку, пожимаю плечами.

– У меня были причины сугубо при ватного свойства, – говорю я. – И тут уж вам придется поверить мне на слово. Вдаваться в подробности я не намерен. Замечу лишь, что городской судья это не часовой, который не смеет покидать свой пост.

Когда меня ведут в тюрьму, чувствую, как в моей походке появляется пружинистая легкость.

– Надеюсь, вы позволите мне вымыться, – говорю я своим конвоирам, но оба солдата будто и не слышат. Ну и наплевать.

Я прекрасно понимаю, откуда во мне этот душевный подъем: мой союз со стражами Империи разорван, я взбунтовался, оковы сброшены, я – вольный человек. Как же тут не возликовать? Но сколь опасен подвох, таящийся в этой радости! Не слишком ли легко далось мне избавление? И стоят ли за моим протестом какие-то твердые принципы? Быть может, я восстал лишь оттого, что один из этих новоявленных варваров захватил мой стол и нагло роется в моих бумагах? А что касается свободы, которой я сейчас себя лишаю, то в чем, собственно, для меня ее ценность? Действительно ли я так уж наслаждался своей безграничной свободой весь этот последний год, когда впервые столь полно ощущал себя хозяином своей жизни и мог творить что вздумается? К примеру, я был волен сделать из той девушки что угодно: жену, или наложницу, или дочь, или рабыню, или все вместе, или что-то вообще совершенно другое – это

mir-knigi.org

зависело лишь от моей прихоти, – потому что я не чувствовал перед девушкой никаких обязательств, за исключением тех редких случаев, когда мне приходила блажь самому их придумать, – кто же, настрадавшись под игом такой свободы, не возрадуется освобождению от нее в тюремной камере? В моем бунте нет ничего героического – забывать об этом я не должен ни на миг.

Моя камера это та самая комната, где в прошлом году проводили допросы. Жду, пока конвоиры вытаскивают и сваливают за дверью матрасы и постели размещавшихся здесь солдат. Три моих недавних спутника, всё такие же грязные и оборванные, высовываются из кухни и глазеют на меня с любопытством.

– Что это вы там едите? – кричу я.– Принесите мне тоже, пока меня не заперли.

Один из них трусит ко мне со своей миской горячей пшенной каши.

Конвоиры показывают, чтобы я шел в комнату.

– Минутку,– говорю я.– Пусть он принесет сюда мою постель, и больше я вас беспокоить не буду.

Они ждут, а я стою в луже солнечного света и ложку за ложкой запихиваю в себя кашу, как после долгой голодовки. Паренек с больной ногой останавливается возле меня, протягивает кружку с чаем и улыбается.

– Спасибо, – говорю я. – Вы не бойтесь, вас они не тронут, вы делали только то, что вам приказывали.

Взяв под мышку постель и старую медвежью доху, вхожу в камеру. На стене, над тем местом, где когда-то стояла жаровня, по-прежнему видны следы копоти. Дверь захлопывается, и меня окружает темнота.

Весь этот день и всю ночь я сплю, и мне не мешает, что за стенкой, прямо у меня над головой, что-то долбят, а вдали громыхают тачки и перекрикиваются рабочие. Во сне опять переношусь в пустыню и бреду по бесконечному простору к неведомой цели. Вздыхаю и облизываю губы.

– Что там за шум? – спрашиваю я, когда стражник приносит мне поесть.

Сносят дома, примыкающие к южной стене казармы, объясняет он; здание казармы решили расширить и построить настоящую тюрьму.

– А, ну да, конечно, – говорю я. – Черному цветку цивилизации подошло время распуститься.

Стражник не понимает. .

Окна в комнате нет, лишь небольшое отверстие под самым потолком. Но через день-два глаза привыкают к полумраку. Когда утром и вечером стражник приносит еду и дверь распахивается, я непроизвольно загораживаюсь от света. Лучше всего здесь ранним утром: проснувшись, долго лежу в постели, слушаю щебет пробуждающихся птиц и гляжу на квадратную дыру дымохода, стараясь не пропустить тот миг, когда темноту сменят первые сизовато-серые отсветы зари.

Кормят меня тем же, чем и солдат. Раз в два дня ворота гарнизона запирают и меня выводят во двор умыться и размять ноги. И каждый раз ворота облеплены зеваками; прижавшись к

решетке, они с интересом смотрят этот спектакль: падение сильных мира сего – любопытное зрелище. Многие лица мне знакомы, но никто со мной даже не здоровается.

Ночью, когда все вокруг затихает, на разведку вылезают тараканы. Я слышу – а может, это лишь игра воображения, – как они пощелкивают роговыми пластинками надкрылий и суетливо семенят по мощеному полу. Их манит смрад стоящей в углу параши и крошки пищи на полу; гора плоти, чья жизнедеятельность и увядание сопровождается столь многообразными запахами, также, без сомнения, представляет для них немалый соблазн. Как-то раз просыпаюсь оттого, что один из них, быстро перебирая невесомыми ножками, ползет у меня по шее. С тех пор я ночью часто дергаюсь, вскакиваю и, явственно чувствуя, как длинные тонкие усики тыкаются мне в глаза и губы, принимаюсь что-то с себя стряхивать. Тревожные симптомы – подобное состояние может перейти в душевное расстройство.

Весь день смотрю на голые стены и, вопреки здравому смыслу, верю, что стоит сосредоточиться, как в тот же миг под моим пристальным взглядом проступят картины мук и унижений, замурованные в памяти этой комнаты; или же закрываю глаза и изо всех сил напрягаю слух, чтобы уловить тот беспредельно тихий звук, с которым, должно быть, еще бьются о стены вопли страдавших здесь людей. Я молю бога ускорить день, когда эти стены рухнут и томящееся в них эхо наконец-то вырвется на волю; и все же очень трудно отвлечься и не слышать, как совсем близко укладывают ряд за рядом кирпичи.

Страстно жду каждого выхода во двор, той минуты, когда моего лица коснется ветер, когда ноги почувствуют землю, когда я вновь увижу людей и услышу человеческие голоса. Уже после двух дней одиночества у меня возникает ощущение, будто губы мои обмякли и потеряли свое назначение, собственная речь кажется мне странной. Воистину человек не создан жить один! Часы кормежки и промежуток между ними – вот, как это ни глупо, все, из чего теперь складывается мой день. Еду я пожираю с жадностью голодного пса. Меня содержат как зверя, и в зверя я превращаюсь…

И тем не менее только в такие пустые дни я способен со всей серьезностью приступать к вызыванию духов, попавших в западню этих четырех стен, и ждать встречи с призраками мужчин и женщин, которые, побывав здесь, навсегда лишались чувства голода и больше не могли ходить без посторонней помощи.

Так устроена жизнь, что всегда где-нибудь да бьют ребенка. И я думаю о той, которая, несмотря на свой возраст, тоже была еще ребенком; о той, которую привели сюда и избивали на глазах у ее отца; о той, которая смотрела, как ее отца при ней унижают, и понимала: он знает, что она все это видит.

Или, возможно, к тому времени она уже потеряла зрение, и догадываться о его унижениях ей помогало что-то другое, например, она могла слышать, как менялся его голос, когда он умолял их прекратить пытки.

Всякий раз ужас не дает мне дорисовать подробности.

А потом отца у нее больше не было. Ее отец уничтожил себя, он перестал жить. Должно быть, как раз в тот миг, когда она отгородилась от него безучастностью, он бросился на своих палачей – если допустить, что в их рассказе есть хоть капля правды,– и рвал их когтями, как дикий зверь, пока дубинка не сшибла его с ног.

Закрыв глаза, часами напролет сижу на полу посреди комнаты, куда еле просачивается дневной свет, и пытаюсь вызвать из небытия образ этого человека, оставившего по себе столь

тяжкую память. Но вижу лишь некий расплывчатый силуэт, называемый словом отец. причем это вовсе не обязательно ее отец, это отец вообще, любой отец, на глазах у которого избивают его дитя, а он даже не может за него вступиться. Не может выполнить свой долг перед тем, кого любит. И за это, понимает он, ему не будет прощения. Вынести сознание своей отцовской несостоятельности, сознание своей отчужденности – выше его сил. Неудивительно, что он хотел умереть.

Взяв девушку под свою защиту, я тем самым как бы намекнул, что готов стать ей отцом. Но я опоздал, ибо она уже не верила в то, что заложено в понятии «отец». Я хотел поступить по справедливости, хотел исправить содеянное – я не лгу, мною действительно руководил этот чистый порыв, пусть и несколько замутненный менее благородными побуждениями: вероятно, ничто не способно вытеснить из сердца раскаяние и стремление искупить вину. И все равно я ни в коем случае не должен был впускать в город людей, претендующих на право попирать мораль во имя других, якобы более высоких принципов. Они при ней раздевали ее отца донага и заставляли его выть от боли; они избивали ее, а он не мог помешать им (весь тот день я просидел у себя в кабинете, подсчитывая городские доходы). После этого ей уже не дано было остаться человеком в полной мере, сестрой всем нам. Какие– то чувства в ней умерли, какие-то движения души стали для нее невозможны. Если я слишком долго пробуду в этой камере, где, кроме призраков отца и дочери, прячется призрак человека, который даже при свете лампы не снимает с глаз черные щитки, и при зрак его подручного, чье дело подбрасывать в жаровню уголь, меня постигнет та же участь, я превращусь в существо, разуверившееся во всем.

И потому я не оставляю попыток разгадать эту девушку, ищу, с какой бы стороны к ней подобраться, одну за другой накидываю на нее сети все новых домыслов. Опираясь на палки, она задумчиво смотрит вверх. Что она там видит? Могучие крылья альбатроса-хранителя или черную тень трусливого ворона, который не отваживается вонзить клюв в добычу, пока та еще дышит?

Хотя стражникам запрещено говорить со мной о чем бы то ни было, из обрывков фраз, которые я слышу, когда меня выводят во двор, нетрудно составить довольно полное представление о происходящем. В последнее время все разговоры вертятся вокруг вспыхнувшего у реки пожара. Пять дней назад пожар был лишь темным пятном, проступавшим сквозь дымку далеко на северо– востоке. Но с тех пор, неторопливо проедая себе дорогу, изредка угасая, а затем неизменно разгораясь вновь, огонь значительно продвинулся вперед, и сейчас из города уже хорошо видно, как бурая пелена расползлась по дельте, там, где река впадает в озеро.

Догадываюсь, как это случилось. Кто-то решил, что прибрежные заросли послужат для варваров слишком надежным прикрытием, а если берега расчистить, река превратится в легко обороняемый рубеж. И потому кустарники подожгли. Ветер погнал огонь на юг, и пожар охватил всю узкую речную пойму. Мне доводилось видеть стихийные пожары. Огонь мчится сквозь камыши, тополя вспыхивают от корней до верхушек, как факелы. Быстроногие звери – антилопы, зайцы, дикие кошки – спасаются бегством; птицы в ужасе тучами летят прочь; все остальное пожирается огнем. Но вдоль реки так много участков голой земли, что стихийные пожары редко распространяются далеко. Поэтому мне ясно, что в данном случае отправили специальный отряд, который вслед за пожаром спускается в низовья реки и не дает огню погаснуть. Этих людей не заботит, что, когда вся растительность будет выжжена, почву начнет сносить ветром и пустыня двинется на город. Вот так, разоряя землю, губя завещанное нам предками, экспедиционные войска готовятся к кампании против варваров.

Папки со стеллажей убраны, пыль вытерта, голые полки отполированы до блеска. Крышка письменного стола отсвечивает тусклым глянцем, на столе пусто, если не считать блюдца с разноцветными стеклянными шариками. В комнате безукоризненная чистота. Воздух наполнен

ароматом цветов, стоящих в вазе на маленьком столике в углу. На полу новый ковер. В моем кабинете никогда еще не было так красиво.

Одетый все в тот же походный костюм – нижнее белье я с тех пор пару раз стирал, а вот от куртки по-прежнему пахнет дымом костра, – стою рядом с моим стражником и жду. За окном сквозь цветущий миндаль пробивается солнце, я любуюсь игрой солнечных лучей и мне хорошо. .

Наконец он входит, бросает на стол пачку бумаг и садится. Смотрит на меня и молчит. В его стараниях про извести на меня впечатление есть все же некоторая театральность. Продуманное преображение моего кабинета из захламленной пыльной комнатушки в образец зияющей аккуратности, чванливая неспешность его прохода от двери к столу, нарочитая бесцеремонность, с которой он меня сейчас изучает – все это призвано что-то доказать: не только то, что теперь здесь командует он (кто же в этом сомневается?), но и то, что ему прекрасно известно, как следует вести себя в служебном кабинете и, более того, как сочетается деловитость с элегантностью. Почему он считает, что ради меня стоит идти на такие хлопоты и разыгрывать весь этот спектакль? Не потому ли, что даже в своей вонючей куртке, даже обросший лохматой бородой, я для него все равно – из благородных, хотя, конечно, позорно опустился в этой глуши? Неужели он боится, что я буду ехидно посмеиваться, если он не огородит себя декорациями, которые – ни минуты в этом не сомневаюсь – скопировал с тщательно изученной обстановки в кабинетах вышестоящих чинов Третьего отдела? Скажи я ему, что все это не имеет значения, он не поверит! Только бы не улыбнуться!

Он откашливается.

– Судья, я зачитаю вам выдержки из собранных нами показаний, – говорит он, – чтобы вы имели представление о серьезности выдвигаемых против вас обвинений.

Он делает знак стражнику, и тот выходит из комнаты.

– Итак, выдержка первая: «Его отношение к своим служебным обязанностям оставляло желать лучшего. Выносимые им решения часто отличались пристрастностью, бывало, что просители месяцами дожидались судебного разбирательства, а в вопросах денежных удержаний и финансовой отчетности он не придерживался никаких определенных правил». – Он опускает бумагу на стол. – Могу добавить, что проверка выявила ряд погрешностей в вашей финансовой документации. «Несмотря на занимаемый им пост полномочного представителя государственной власти в нашем округе, он вступил в связь с уличной девкой и, предаваясь с ней разврату, тратил силы в ущерб своим официальным обязанностям. Эта безнравственная связь подрывала престиж имперской администрации, поскольку услугами вышеуказанной особы в свое время пользовались даже простые солдаты и она была замешана в многочисленных непристойных историях». Приводить примеры я не буду.

– Теперь, позвольте, процитирую вам из другого показания. «Первого марта, за две недели до прибытия экспедиционных войск, он приказал мне и еще двоим (далее приводятся имена) срочно подготовиться к длительному путешествию. Куда мы отправимся, он нам в то время не говорил. Узнав, что с нами пойдет и та девушка из варваров, мы удивились, но вопросов не задавали. Кроме того, нас удивила поспешность приготовлений. Нам было непонятно, почему нельзя подождать до весенней оттепели. Лишь по возвращении мы поняли, что целью похода было предупредить варваров о готовящейся против них кампании… Наша встреча с варварами произошла примерно восемнадцатого марта. Он вел с ними долгие переговоры, в которых мы не участвовали. Имел место также обмен подарками. Мы в то время обсуждали между собой,

как быть, если он прикажет нам перейти на сторону варваров. Мы решили, что откажемся выполнять этот приказ и сами отыщем дорогу назад… Девушка вернулась к своим. Он был от нее без ума, но она о нем даже и не думала».

– Вот так-то. – Он аккуратно кладет бумаги на стол и разглаживает уголки страниц. Я по-прежнему молчу. – Я зачитал вам только выдержки. Знаете, со стороны как-то нехорошо выглядит, когда мы вмешиваемся в дела местных властей и наводим порядок. Ведь это не входит в круг наших обязанностей.

– На суде я сумею себя защитить.

– Вы уверены?

Их тактика нисколько меня не удивляет. Я прекрасно знаю, какой весомый смысл можно вложить в любые инсинуации и намеки, я знаю, что любой вопрос можно построить так, что он сам продиктует ответ. Меры, определенные законом, они будут применять против меня лишь до тех пор, пока это будет их устраивать, а потом пустят в ход другие методы. Такова практика Третьего отдела. Для тех, кто действует, не считаясь с законами, судопроизводство попросту одно из многочисленных средств достижения цели.

Я нарушаю молчание:

– Никто не осмелится заявить мне такое в глаза. Кто подписал показания, которые вы зачитали первыми?

Небрежно отмахнувшись, он откидывается на спинку кресла.

– Не важно. У. вас еще будет возможность ответить по всем пунктам.

В неподвижной тишине утра мы молча созерцаем друг друга, пока он не решает, что хватит, и, хлопнув в ладоши, приказывает стражнику увести меня.

Оставшись один в сумраке камеры, я долго размышляю о нем и стараюсь понять истоки его враждебности, стараюсь увидеть себя его глазами. Я думаю о том, сколько труда он вложил в переустройство моего кабинета. Вместо того чтобы без лишних хлопот свалить мои бумаги в угол И, усевшись в мое кресло, положить ноги на стол, он усердно демонстрирует мне, какой у него, по его понятиям, хороший вкус. Что же он такое, этот мужчина с тонкой мальчишеской талией и бицепсами громилы, втиснутый в сиреневатую форму, которую придумал для своих сотрудников Третий отдел? Тщеславный, жадный до похвал – безусловно. Ненасытный бабник, никогда не испытывающий полного удовлетворения и не способный дать его той, что рядом. Человек, которому внушили, что достичь вершины можно, лишь пройдя к ней по трупам. Человек, который мечтает, как в недалеком будущем наступит мне на горло, да еще и вдавит сапог посильнее. А как к нему отношусь я? Почему-то мне трудно его ненавидеть. До чего, должно быть, нелегок путь наверх для молодых парней без денег, без покровителей, без мало-мальски приличного образования – таким ничего не стоит примкнуть к преступному миру, равно как и пойти в защитники Империи (а если уж выбирать, то что может быть лучше службы в Третьем отделе!).

Как бы то ни было, мне далеко не просто свыкнуться с унижениями тюремной жизни. Порой, когда я сижу на матрасе и, уставившись на три пятнышка на стене, чувствую, как в тысячный раз во. мне зреют все те же вопросы: почему они расположены в ряд? кто их здесь оставил? есть ли в них скрытый смысл?; или когда, расхаживая по камере, ловлю себя на том, что считаю: раз-два-три-четыре-пять-шесть-раз-два-три…; или когда машинально, бездумно вожу

рукой по лицу вверх и вниз – я вдруг сознаю, что позволил им сжать мой мир до микроскопических размеров, что с каждым днем я все более похожу на животное или на простейший механизм, к примеру, на игрушечную детскую прялку, колесико, по ободку которого вырезаны восемь крошечных фигурок: отец, жених, старушка, заяц, вор, лягушка… И тогда в приступе умопомрачительного ужаса я срываюсь с места, ношусь по камере, молочу руками воздух, дергаю себя за бороду, топаю ногами – словом, делаю что угодно, только бы выйти из тупого оцепенения и напомнить себе, что там, за стенами, существует другой мир, многообразный и неистощимый.

Есть унижения и другого рода. Все просьбы выдать мне чистую одежду стражники оставляют без внимания. Я вынужден ходить лишь в том, что прихватил с собой в день ареста. Во время каждой прогулки я под наблюдением стражника стираю в холодной воде с золой какую-нибудь одну вещь, – например, рубашку или кальсоны, – а потом несу ее сушиться в камеру (рубашка, которую я оставил сохнуть во дворе, через два дня исчезла). Меня неотвязно преследует кислый запах белья, давно не видевшего солнца.

И – самое унизительное. Из-за однообразия тюремного рациона – суп, овсянка, чай – отправление естественных надобностей превратились для меня в мучение. По нескольку дней хожу с раздутым животом и терплю ощущение тяжести, пока наконец не решаюсь присесть над парашей и вынести режущую, раздирающую кишки боль, которой сопровождается теперь каждое опорожнение желудка.

Меня не бьют, меня не морят голодом, мне не плюют в лицо. Вправе ли я считать себя жертвой, если страдания мои так ничтожны? Но именно мелочность издевательств делает их еще более оскорбительными. Когда дверь камеры впервые захлопнулась и в замке повернулся ключ, я, помнится, улыбнулся. Мне казалось, не такое уж это великое лишение сменить привычное одиночество повседневной жизни на одинокое существование в камере, куда к тому же я переселюсь вместе с миром моих мыслей и воспоминаний. Но теперь я начинаю понимать всю примитивность своих представлений о свободе. Что включает в себя та свобода, которую мне оставили здесь? Свободу выбора: есть или голодать; молчать, или невнятно разговаривать сам с собой, или колотить в дверь, или вопить. Если я и был жертвой несправедливости, жертвой незначительного нарушения законности, то только поначалу, только в первые дни, а сейчас я просто кучка мяса, костей и потрохов.

Ужин мне приносит внук гарнизонной поварихи. Он, конечно же, недоумевает, почему старого судью заперли одного в темной комнате, но вопросов не задает. Стражник придерживает открытую дверь, и мальчик, гордо распрямившись, входит с подносом в камеру.

– Спасибо, – говорю я. – Ты молодец, что пришел, а то я уже проголодался… – Кладу руку ему на плечо и, пока он с серьезным видом ждет, чтобы я попробовал и похвалил ужин, заполняю разделяющую нас пропасть простыми человеческими словами. – Как себя чувствует твоя бабушка?

– Хорошо, ваша милость.

– А что твой песик? Он вернулся? (Через двор до меня доносится голос поварихи, она зовет внука на кухню.)

– Еще нет.

– Сейчас, понимаешь ли, весна, собаки играют свадьбы: они бегают друг к другу в гости и пропадают на много дней, а потом возвращаются домой и даже не рассказывают, где были. Так

что ты не беспокойся, он обязательно вернется.

– Да, ваша милость.

Он ждет, и, попробовав суп, я причмокиваю губами.

– Передай бабушке, что я благодарю ее за ужин, и скажи, все очень вкусно.

– Хорошо, ваша милость. – Со двора его снова зовут; он собирает посуду, в которой мне приносили утром завтрак, и поворачивается, чтобы уйти.

– Ты не знаешь, солдаты еще не возвратились? – быстро спрашиваю я.

– Еще нет.

Открыв перед ним дверь, я ненадолго задерживаюсь на пороге и, пока мальчик идет с подносом через двор, вслушиваюсь в последнюю вечернюю песню птиц, щебечущих на деревьях под огромным фиолетовым небом. Мне нечего подарить этому ребенку, у меня нет даже какой-нибудь пуговицы; и даже времени нет, чтобы научить его хрустеть пальцами или показать, как можно с размаху поймать свой нос в кулак.

Девушку я начинаю забывать. Меня уже клонит в сон, когда я. вдруг с холодной ясностью сознаю, что за весь день не подумал о ней ни разу. Хуже того, я не могу с точностью вспомнить ее облик. Из ее пустых глаз, казалось, всегда полз какой-то туман, обволакивающий ее неопределенностью. Вглядываюсь в темноту, жду, когда расплывчатые очертания сгустятся в некий образ; но единственное, что вспоминается мне доподлинно, это мои руки, скользящие по ее коленям, икрам, щиколоткам. Стараюсь припомнить минуты нашей наибольшей близости, но эти мгновения смешиваются в моей памяти с воспоминаниями о всех других женщинах, чью жаркую плоть мне довелось познать за свою жизнь. Да, я понемногу забываю ее и – я отдаю себе в этом отчет – хочу забыть совсем. Что влекло меня к ней, я не знаю до сих пор, как не знал и в тот миг, когда остановился у ворот гарнизона и сделал ее своей избранницей; и вот теперь я сосредоточенно закапываю ее в черную яму забвения. Как говорится, холодные руки – холодное сердце; прикладываю ладони к щекам и тихо вздыхаю в темноте.

Во сне вижу, что в тени под стеной кто-то скорчился на коленях. Площадь совершенно пуста; ветер гонит тучи пыли; девушка кутается в воротник балахона, надвигает шапку на лицо.

Я стою, склонившись над ней.

– Где у тебя болит? – Чувствую, как эти слова рождаются у меня во рту, потом слышу, как они просачиваются наружу, плоские, бесплотные, словно произнесенные кем-то другим.

Она неуклюже вытягивает ноги вперед и прикасается к щиколоткам. Она такая маленькая, что почти затерялась в просторном мужском зипуне. Опускаюсь на колени, развязываю тесемки, которыми обкручены ее непомерно большие шерстяные носки, разматываю бинты. Ее ноги лежат передо мной в пыли; искалеченные ступни – два уродца, две вздувшиеся дохлые рыбы, две огромные картофелины.

Кладу одну ногу к себе на колени и начинаю растирать. Веки у девушки намокают, по щекам катятся слезы.

– Больно! – тихонько скулит она.

– Тс-с-с, – шепчу я. – Сейчас я тебя согрею.

Положив к себе на колени обе ее ноги, принимаюсь разминать две ступни вместе. Ветер забрасывает нас пылью; на зубах у меня песок. Просыпаюсь от боли в деснах, во рту привкус крови. Ночь неподвижна, луна – темное пятно. Некоторое время лежу; вглядываясь в черноту, потом глаза у меня слипаются, и я снова вижу сон.

Вхожу в ворота гарнизона, и двор раскидывается передо мной, бесконечный, как пустыня. Пытаться пересечь его – безнадежная затея, но я все равно бреду вперед и несу на руках девушку, мой единственный ключ от этого лабиринта: голова девушки, покачиваясь, тычется мне в плечо, ее мертвые ноги висят, как плети.

Бывают и другие сны, когда то, что я обозначаю словом «девушка», внезапно меняет очертания, размеры, пол. А в одном из снов я вижу два вселяющих ужас комка: плотные и гладкие, они разбухают и разбухают, пока не заполняют собой все пространство, в котором я сплю. Просыпаюсь от удушья, кричу, горло чем-то забито.

Дни же, в отличие от ночей, сотканы из однообразия, унылого, как овсянка. Никогда прежде я так не погрязал в банальности обыденного. Поток событий во внешнем мире, нравственные нормы, обусловившие мое волеизъявление (если, конечно, это и в самом деле волеизъявление), даже предстоящая возможность защитить себя на суде – все это напрочь утратило для меня интерес и куда-то отодвинулось: остались только аппетит, естественные отправления и скучная необходимость жить час за часом. На днях я простудился: чихаю, сморкаюсь и всецело поглощен своим недомоганием; я жалок, я просто организм, который чувствует, что заболел, и хочет выздороветь.

Однажды, по ту сторону стены, где обычно весь день шуршат и позвякивают мастерки каменщиков, шум вдруг смолкает. Лежу на матрасе и внимательно прислушиваюсь: в воздухе разлит неясный гул, и, хотя он не распадается на отдельные звуки, напряжение, пронизывающее неподвижную послеполуденную тишину, вселяет в меня смутную тревогу. Будет гроза? Прижимаюсь ухом к двери, но все равно ничего не слышу. Казарменный двор пуст.

Через некоторое время за стеной снова начинают позвякивать мастерки.

Ближе к вечеру дверь открывается и мой маленький друг вносит ужин. Его явно распирает желание что-то мне сказать; но стражник тоже вошел в камеру и стоит рядом с мальчиком, положив руку ему на плечо. Поэтому беседу со мной ведут только глаза ребенка: они сверкают от возбуждения и, я готов поклясться, говорят мне, что солдаты вернулись из похода. Тогда почему же не трубят фанфары и никто не кричит «ура», почему не цокают по городской площади копыта лошадей, почему не слышно приготовлений к пиршеству? Почему стражник так крепко вцепился в мальчика и выталкивает его из камеры, прежде чем я успеваю коснуться губами бритой головенки? Ответ напрашивается сам собой: солдаты вернулись, но не с победой. Если так, то я должен быть начеку.

Поздним вечером в гарнизоне вдруг поднимается шум и гам. Скрипят и хлопают двери, торопливо шаркают сапоги. Кое-что из разговоров во дворе разбираю вполне ясно: никто не упоминает ни о сражениях, ни о полчищах варваров, вместо этого я слышу, как люди жалуются, что у них ноют ноги, говорят, что устали, спорят, где разместить больных. Через час все снова затихает. Двор пуст. Значит, пленных нет. Что ж, и то хорошо.

Уже давно утро, а завтрак до сих пор не принесли. Расхаживаю по камере, в животе у меня

урчит, как у голодной коровы. При мысли о соленой овсянке и кружке черного чая истекаю слюной, но не думать о еде не могу.

Выводить меня на улицу тоже вроде бы не собираются, хотя сегодня день прогулки. Каменщики за стеной снова работают; со двора доносятся звуки обычной гарнизонной жизни; мне даже слышно, как повариха окликает внука. Колочу в дверь, но никому нет до меня дела.

Наконец во второй половине дня в замке поворачивается ключ, и дверь открывается.

– Что тебе? – спрашивает мой тюремщик.– Ты почему в дверь молотишь?

До чего, наверно, я ему омерзителен! Какая тоска изо дня в день сторожить запертую дверь и следить за тем, чтобы удовлетворялись животные потребности другого человека! У него тоже украли свободу, и он считает, что этот вор – я!

– А меня сегодня не поведут во двор? Я еще ничего не ел.

– Ты только поэтому меня звал? Надо будет – накормим. Потерпи, не помрешь. У тебя и так жиру на двоих.

– Подождите. Мне нужно вылить парашу. Здесь очень воняет. Я хотел бы вымыть пол. И выстирать белье. Оно так пахнет, что появиться в нем перед полковником я просто не могу. Будет позор для всей тюрьмы. Мне нужна горячая вода, мыло и какая-нибудь тряпка. Разрешите, я сейчас мигом вылью парашу и принесу из кухни горячей воды.

Насчет полковника я, кажется, угадал, потому что стражник мне не перечит. Он открывает дверь пошире и отходит в сторону.

– Только быстро! – говорит он.

В кухне, кроме судомойки, никого нет. Когда мы со стражником входим, девушка испуганно вздрагивает и, похоже, готова удариться в бегство. Какие же небылицы рассказывают обо мне в городе?

– Дай ему горячей воды, – приказывает стражник. Коротко кивнув, она поворачивается к плите, на которой всегда стоит большой котел с кипятком.

– Ведро… – бормочу я, оглядываюсь на стражника. – Я только принесу ведро. – И, в три шага перемахнув через кухню, оказываюсь возле темной ниши, где помимо мешков с мукой, солью, пшеном, сушеным горохом и бобами держат веники и швабры. Вровень с моими глазами на гвозде висит ключ от погреба, где хранятся бараньи туши. В следующий миг ключ уже у меня в кармане. Когда я возвращаюсь к плите, в руках у меня деревянное ведерко. Поднимаю его повыше, и девушка черпаком наливает туда кипяток. – Как твои дела? – спрашиваю я. Руки у нее так дрожат, что я вынужден взять черпак сам.

– Если можно, дай мне, пожалуйста, немного мыла и старую тряпку.

В камере раздеваюсь догола и моюсь, наслаждаясь роскошью горячей воды. Стираю мою единственную запасную пару кальсон, от которых смердит, как от гнилой луковицы, выжимаю их, вешаю на гвоздь у двери и выливаю воду на каменный пол. Потом ложусь и жду наступления ночи.

Ключ в замке поворачивается легко. Многие ли, кроме меня, знают, что ключом от погреба

можно отпереть комнату, ставшую моей камерой, а заодно и большой шкаф в главном коридоре казармы; что ключ от квартиры над кухней – близнец ключа от арсенала; что ключ от входа на лестницу северо– западной башни откроет и дверь северо-восточной башни, а также малый шкаф в коридоре и люк над водостоком во внутреннем дворике? Погрузитесь на тридцать лет в мелочи, из которых складывается жизнь в крошечном городке, и накопленные наблюдения вам тоже когда-нибудь пригодятся. .

С чистого черного неба подмигивают звезды. Сквозь решетку ворот просвечивают отблески горящего на площади костра. Если напрячь глаза, возле ворот можно различить темную тень – часовой то ли сидит, привалившись к стене, то ли сжался в комочек и спит. Видит ли он, что я стою на пороге камеры? Застываю и прислушиваюсь. Он не шевелится. Медленно двигаюсь вдоль стены; мои босые ноги с тихим шепотком ступают по гравию.

Поворачиваю за угол и прохожу мимо двери кухни. Следующая дверь ведет в мою прежнюю квартиру на втором этаже. Эта дверь заперта. Но третья,

последняя дверь открыта. За ней каморка, которую иногда используют как лазарет, а иногда как временное жилье для солдат. Приседаю, ощупываю перед собой пол и на корточках крадусь к тусклому синему квадрату зарешеченного окна, боясь споткнуться о тела людей, чье дыхание слышу со всех сторон.

Вдруг одна из нитей начинает отделяться от переплетения окутывающих комнату звуков: кто-то часто дышит у самых моих ног и при каждом выдохе постанывает. Ему снится сон? Неподвижно жду, а он лишь в нескольких дюймах от меня – все пыхтит и стонет в темноте, как заведенный. Крадусь дальше.

Распрямляюсь и выглядываю в окно, готовясь увидеть огни костров, шеренги привязанных лошадей, пирамиды мушкетов и пик, ряды палаток. Но смотреть почти не на что: вижу на площади всего один, еле тлеющий костер, да еще, кажется, в дальнем конце, под деревьями, сереют пятна двух палаток. Так, значит, войска еще не вернулись! Или, может быть, горстка этих изнуренных людей и есть все, что осталось от экспедиции? Сердце у меня замирает. Нет, такое просто невозможно! Эти солдаты ни с кем не воевали: в худшем случае они рыскали в верховьях реки, ловили безоружных пастухов, насиловали их жен и дочерей, громили их дома, разгоняли их скот; а в лучшем случае вообще не встретили за время похода ни души – и уж конечно, в глаза не видели никакой армии объединившихся варваров, от чьей свирепости нас так усердно оберегает Третий отдел.

Чужие пальцы легко, словно крылья мотылька, прикасаются к моей щиколотке. Валюсь на колени.

– Пить хочу,– признается чей-то голос. Это тот солдат, который так громко пыхтел. Выходит, он не спал.

– Тише, сынок, – шепчу я. Всматриваюсь в темноту и различаю белки поднятых ко мне глаз. Щупаю его лоб: у парня жар.

Он хватает меня за руку:

– Очень пить хочется!

– Я принесу воды, только обещай, что не будешь шуметь, – шепчу я ему в ухо. – Тут больные, им нужно спать. .

Тень у ворот так и не сдвинулась с места. Возможно, это просто старый мешок или куча дров. На цыпочках иду по гравию через двор, к длинному желобу солдатской умывалки. Вода там не слишком чистая, но вытащить затычку из стока я не рискую. На желобе сбоку висит погнутый ковшик. Наполняю его и крадусь обратно.

Паренек силится приподняться, но он совсем ослабел. Пока он пьет, поддерживаю его за плечи.

– Что с тобой? – тихо спрашиваю я. Рядом кто-то ворочается. – Ты ранен или заболел?

– Мне очень жарко! – стонет он. Хочет скинуть с себя одеяло, но я не позволяю.

– Ты должен как следует пропотеть, – шепчу я. Он медленно покачивает головой из стороны в сторону.

Сижу рядом и держу его за руку, пока он вновь не засыпает.

В деревянную раму вделаны три железных прута: на первом этаже все окна в казарме зарешечены. Упираюсь в раму ногой, берусь за средний прут и тяну его на себя. Потею, напрягаюсь, поясницу пронзает острая боль, но прут не поддается. Затем рама вдруг трещит и, чтобы не опрокинуться на спину, цепляюсь за подоконник. Паренек снова начинает стонать, кто-то кашляет. Переношу вес на правую ногу и чуть не вскрикиваю от внезапной боли.

Ставни не заперты. Отогнув прутья решетки в сторону, просовываю в дыру голову и плечи, выбираюсь наружу, кубарем лечу вниз и наконец приземляюсь под стрижеными кустами, которые растут вдоль северной стены гарнизона. Боль такая, что ни о чем другом думать не могу, и у меня только одно желание – чтобы мне не мешали лежать в этой единственно удобной сейчас позе: на боку, подтянув колени к подбородку. Теряя впустую по меньшей мере час, лежу и слушаю, как из открытого окна несутся вздохи спящих и паренек что-то бормочет себе под нос. На площади гаснут последние угли костра. Спят люди, спят звери. Эта предрассветная пора – самое холодное время ночи. Идущий от земли холод пробирает меня до костей. Если я здесь застряну, то окоченею, и утром меня на тачке отвезут назад в камеру. Как искалеченная улитка, с трудом ползу вдоль стены к темному зеву ближайшей улицы, что ведет прочь от площади.

Калитка дворика за трактиром косо завалилась на проржавевших петлях. Дворик насквозь пропах гнилью. Кухарки вываливают сюда кучи очистков, кости, объедки, золу, чтобы потом вилы закопали все это в землю; но земля устала принимать в себя мусор, и вилы, хороня скопившиеся за неделю отбросы, выволакивают наверх то, что погребли неделю назад. Днем воздух здесь гудит от мух; в сумерках оживают черные и рыжие тараканы.

Под деревянной лестницей, ведущей на галерею и в комнаты прислуги, есть закуток, где держат дрова и где в плохую погоду прячутся от дождя кошки. Заползаю туда и сворачиваюсь на старом мешке. От мешка пахнет мочой, в нем наверняка полно блох, я так замерз, что стучу зубами; но главное сейчас – хоть немного утихомирить боль в спине.

Будит меня дробь шагов по лестнице. Уже давно светло: в смятении, с мутной головой, съеживаюсь в своей норе. Кто-то открывает дверь кухни. Со всех сторон сбегаются куры. Рано или поздно меня здесь непременно обнаружат.

Набравшись дерзости, но несмотря на все усилия, морщась от боли, поднимаюсь по лестнице. В грязной рубашке и замызганных штанах, босиком, с патлатой бородой – какую картину являю я собой миру? Дай бог, чтобы меня приняли за слугу, за конюха, возвращающегося с

ночной попойки.

Коридор пуст, дверь в комнату девушки открыта. В самой же комнате, как всегда, прибрано и чисто: возле кровати лежит на полу пушистая шкура, окно затянуто красной клетчатой занавеской, сундук придвинут к стене под вешалку с платьями. Зарываюсь лицом в благоухание ее одежды и думаю о ребенке, который носил мне еду, вспоминаю, как я клал руку ему на плечо и как от этого прикосновения животворная сила растекалась по телу, иссушенному противоестественным одиночеством.

Кровать застелена. Скольжу рукой под покрывало, и мне чудится, будто простыни еще хранят ее тепло. Было бы наивысшим счастьем свернуться калачиком в ее постели, положить голову на ее подушку, забыть об усталости и боли, не думать о том, что охотники, должно быть, уже идут по следу, и, подобно красавице из сказки, заснуть на сто лет. Как сладострастно ощущаю я этим утром притягательность всего теплого, мягкого, душистого! Со вздохом опускаюсь на колени и впихиваю себя под кровать. Распластавшись лицом вниз, так тесно зажатый между полом и планками кровати, что стоит шевельнуть плечом, как кровать приподнимается, я готовлюсь прятаться здесь целый день.

То дремлю, то просыпаюсь, бессвязные сны сменяют друг друга. Ближе к полудню становится до того жарко, что спать больше невозможно. Пока хватает терпения, лежу, обливаясь потом, в своем тесном пыльном убежище. Затем, как ни оттягиваю эту минуту, она все же настает, и я должен немедленно облегчиться. Кряхтя, выползаю из-под кровати и сажусь на ночной горшок. Снова раздирающая кишки боль. Заменивший мне бумагу украденный белый платочек весь в крови. В комнате воняет: противно даже мне, столько времени прожившему в камере, где в углу стояла параша. Открываю дверь и ковыляю по коридору. С галереи видны ряды крыш, за ними – южная стена города, а за ней простирается уходящая в голубую даль пустыня. Внизу никого нет, только на другой стороне улочки какая-то женщина подметает крыльцо. За спиной у нее копошится на четвереньках ребенок и что-то толкает перед собой в пыли – что именно, я не вижу. Круглая детская попка задрана к небу. Как только женщина отворачивается, выхожу из темноты и опорожняю горшок на кучу мусора под галереей. Женщина ничего не замечает.

По городку уже растекается ленивая истома. Утренняя работа закончена: не дожидаясь наступления жары, люди уходят спать в тенистые внутренние дворики или в зеленоватую про хладу дальних комнат. Вода в канавах журчит тише и тише, а потом и вовсе замирает. Слышно только, как под молотком кузнеца позванивает подкова, как воркуют голуби да еще откуда– то доносится плач младенца.

Вздохнув, ложусь на кровать, и меня обволакивает навевающий сладкие воспоминания запах цветов. Как соблазнительно погрузиться вместе со всем городком в послеполуденный отдых! Ах, эти жаркие весенние дни, незаметно переходящие в лето, – до чего же просто отдать себя во власть их расслабляющей неги! Но как могу я смириться с тем, что меня настигла беда, если жизнь вокруг все так же покойно течет по своим законам? Мне сейчас очень легко поверить, что скоро, когда тени начнут удлиняться и первое дуновение ветерка всколыхнет листву, я проснусь, зевну, оденусь, спущусь по лестнице и, раскланиваясь с друзьями и соседями, пройду через площадь в здание суда, час-другой посижу у себя в кабинете, потом наведу на столе порядок, замкну дверь… – мне очень легко поверить, что все снова будет так, как было всегда. И чтобы опомниться, трясу головой и моргаю, пока наконец не осознаю, что, хотя я лежу здесь, я – в бегах, что, выполняя приказ, солдаты нагрянут и сюда, вытолкают меня взашей, а потом снова запрут там, откуда не увидеть ни неба, ни людей. «Почему? – хриплю я в подушку.– Почему я?») Знал ли мир второго такого же неискушенного в жизни, наивного простака? Сущее дитя! И все же, если им удастся, они засадят меня под замок гнить

в темнице, будут с той же злобной нерадивостью заботиться о нуждах моего тела, а потом, однажды, без предупреждения вытащат меня из камеры и молниеносно, как принято у них в условиях чрезвычайного положения, проведут суд при закрытых дверях под руководством маленького надменного полковника: его приспешник будет зачитывать обвинения, а чтобы придать процедуре подобие законности, В пустом зале будут присутствовать в качестве заседателей два младших офицера; затем, и прежде всего в том случае, если они уже проиграли несколько сражений и варвары сбили с них спесь, меня признают виновным в измене – стоит ли в этом сомневаться? Из зала суда меня поволокут на казнь: я буду биться у них в руках и рыдать, преисполненный величайшего изумления, как в тот день, когда я появился на свет, и до самого конца буду упорно верить, что кара не может постигнуть безвинного. «Ты живешь в мире грез! – говорю я себе; громко произношу эти слова вслух, смотрю, как они повисают передо мной в воздухе, и пытаюсь уразуметь их смысл. – Ты должен очнуться!)) Намеренно вызываю в своем сознании образы тех безвинно пострадавших, кого я знал: залитый светом фонаря, нагой мальчик лежит, прикрыв руками пах; пленные варвары сидят на корточках в пыли и, загораживая глаза от солнца, ждут, что будет дальше. Почему же я не допускаю мысли, что растоптавшее их чудовище способно растоптать и меня? Я искренне верю, что не боюсь смерти. Меня, как я догадываюсь, страшит иное – позор умереть все в том же растерянном и глупом недоумении.

Внизу во дворе раздается гомон мужских и женских голосов. Торопливо забиваюсь в свой тайники слышу, как чьи-то сапоги топают по лестнице. Удаляясь в конец галереи, шаги затихают, потом медленно возвращаются и ненадолго гаснут перед каждой дверью. На этом верхнем этаже трактира клетушки, где спит прислуга и где солдаты могут за деньги провести ночь в свое удовольствие, разделены лишь тонкими, обклеенными бумагой перегородками: я отчетливо слышу, как в поисках добычи охотник по очереди распахивает двери одну за другой. Прижимаюсь к стене. Хорошо бы, он не учуял мой запах.

Шаги сворачивают за угол и двигаются по коридору, приближаясь ко мне. Дверь открывается, ее придерживают, потом она закрывается снова. Итак, я прошел испытание.

Снова шаги, но на этот раз легкие, быстрые: кто-то пробегает по коридору и входит в комнату. Я лежу отвернувшись и не вижу ее ног, но знаю, что это она. Сейчас самое время открыть свои карты и попросить ее спрятать меня здесь до наступления темноты, когда я смогу выбраться из города и спуститься к озеру. Но как это сделать? Едва кровать всколыхнется и я начну вылезать, девушка выскочит в коридор и заголосит, зовя на помощь. И где уверенность, что она согласится спрятать меня – одного из тех многих, что не раз проводили время в этой комнате, одного из тех случайных мужчин, ублажая которых она зарабатывает себе на жизнь,– человека в опале, беглеца? Да и узнает ли она меня в моем теперешнем виде? Ее ноги порхают по комнате, изредка задерживаясь то там, то здесь. В этих перебежках я не улавливаю никакой закономерности. Лежу неподвижно, дышу тихо, обливаясь потом. Затем она вдруг исчезает; короткий скрип ступенек, и – тишина.

На меня нисходит ощущение покоя, и во внезапном просветлении я понимаю, как все это смешно – и мой побег, и эта игра в прятки; что за глупость улечься в жару под кровать, а потом, выбрав безопасный миг, улизнуть в заросли камышей, чтобы жить там, питаясь, без сомнения, только птичьими яйцами и рыбой, которую надо будет ловить руками; чтобы спать в какой-нибудь норе и терпеливо дожидаться, пока жернова истории перемелют нынешнее время и жизнь на границе вновь погрузится в прежнюю спячку. Если уж начистоту, то я просто перестал владеть собой и впал в панику – ужас, как я полагаю, охватил меняв ту минуту, когда пальцы стражника впились в плечо ребенка, напоминая ему, что не следует ничего мне говорить, и я понял: что бы ни произошло в тот день, винить в случившемся все равно будут меня. Я вошел в камеру здравомыслящим человеком, уверенным в правильности

избранной им стези, хотя и до сих пор не могу с точностью объяснить, что это за стезя; но сейчас, после двух месяцев, проведенных среди тараканов, в четырех стенах, где видишь перед собой лишь загадочное пятно копоти, где обоняешь только смрад собственного тела, где поговорить можно лишь с являющимся во сне призраком, на чьих устах печать, – сейчас я далеко не так в себе уверен. Желание коснуться живого человеческого тела и почувствовать его ответное прикосновение захлестывает меня иногда с такой силой, что я скрежещу зубами: как жадно каждый вечер и каждое утро предвкушал я ту минуту, когда рука моя на краткий миг ляжет на плечо мальчику – ведь ничего другого мне было не дано! Женские объятья в чистой постели, хорошая еда, прогулки погожим днем – насколько, казалось бы, все это важнее, чем право решать без подсказки полиции, с кем тебе дружить, а с кем – враждовать! Как могу я утвердиться в своей правоте, когда весь город единодушно осуждает мои похождения с девушкой-чужестранкой и не менее единодушно ополчится против меня, если местные парни будут гибнуть в боях с любезными моему сердцу варварами? Но раз у меня нет непоколебимой уверенности в своей правоте, то какой же смысл страдать под пытками палачей в сиреневых мундирах? Ведь даже если я скажу им правду, даже если слово в слово повторю все, что говорил во время встречи с варварами, даже если моим экзекуторам захочется поверить мне, они будут упорно продолжать свое черное дело, ибо свято чтят заповедь, гласящую, что с предельной правдивостью человек раскрывается только под предельным нажимом. Я убегаю от боли и смерти. Но бегство мое не продумано. Если я спрячусь у озера, то через неделю умру от голода или меня выкурят из плавней дымом. Будем откровенны: я попросту хочу дать себе передышку, потому-то и сбежал сюда, в единственное место, где, может быть, меня еще примут в мягкую постель и ласковые объятья.

Снова шаги. Узнаю ее быструю походку, но на этот раз девушка не одна, с ней – мужчина. Они входят в комнату. Судя по голосу, ее гость еще очень молод, совсем мальчишка.

– Зря ты позволяешь так с собой обращаться! Ты им не рабыня! – с жаром восклицает он.

– Ты не понимаешь, – отвечает она. – И вообще я не хочу сейчас об этом говорить.

Тишина, за тем звуки поцелуев.

Я краснею. Присутствовать при этом невыносимо. Но выхода нет, и, как рогоносец в балаганном фарсе, я, затаив дыхание, все глубже увязаю в трясине позора.

Кто-то из них садится на кровать. На пол с шумом падают сапоги, шуршит одежда, и, отделенные от меня расстоянием всего в дюйм, надо мной вытягиваются два тела. Прогнувшись, планки кровати вдавливаются мне в спину. Слушать слова, которые они сейчас говорят друг другу, стыдно, и я мысленно затыкаю уши, но не могу приказать себе не слышать хорошо знакомые, блаженные вскрики и стоны охваченной страстью девушки, той девушки, что некогда будила в моей душе особую нежность.

Планки давят на меня сильнее. Вжимаюсь в пол как только могу, кровать начинает скрипеть. Мокрый от пота, красный, я не выдерживаю и стону: протяжный тихий стон змеей выползает из моего горла и, никем не замеченный, смешивается с шумом их дыхания.

Но вот и кончилось. Вздохнув, они затихают, кровать перестает ходить ходуном, они спокойно лежат бок о бок, волны дремоты уносят их все дальше в сон, а я – мрачный, напряженно застывший, сна ни в одном глазу – поджидаю удобной минуты, чтобы сбежать. Сейчас то время дня, когда засыпают даже куры, то время дня, когда Империей правит только один властелин – солнце. В маленькой комнате под плоской крышей такая жара, что можно задохнуться. Я со вчерашнего вечера ничего не ел и не пил.

Уперевшись ногами в стену, долго выталкиваю себя из-под кровати, потом наконец осторожно приподнимаюсь и сажусь. Боль в спине, ноющая стариковская боль, снова дает о себе знать.

– Простите, – шепчу я.

Они и правда спят: как дети, мальчик и девочка, нагие, рука в руке, на коже бусинки пота, лица разглаженные и безмятежные. Стыд захлестывает меня с удвоенной силой. Красота девушки не будит во мне желания: напротив, сама мысль о том, что старик с тяжелым, дряблым, дурно пахнущим телом (как же они не почувствовали запаха?) смел когда-то обнимать ее, кажется сейчас в высшей степени непристойной. Ведал ли я, что творю, когда подминал под себя такие юные, похожие на цветы создания с мягкими лепестками – ведь была не только эта девушка, но еще и та, другая? Я должен был оставаться среди себе подобных, среди разжиревших и увядающих; мой удел – сварливые толстые бабы с едко пахнущими подмышками, потаскухи с большими, обвислыми грудями. На цыпочках я выхожу из комнаты и ковыляю по лестнице вниз, навстречу ослепительному огню солнца.

Верхняя створка ведущей в кухню двери открыта. Какая-то старуха, скрюченная и беззубая, стоя ест из чугунной кастрюли. Мы встречаемся глазами; она застывает с разинутым ртом, ложка повисает в воздухе на полпути. Старуха узнает меня. Машу рукой и улыбаюсь – я сам удивлен, как легко дается мне эта улыбка. Ложка продолжает прерванный путь, губы накрывают ее, старуха отводит взгляд в сторону, я иду дальше.

Северные ворота города заперты, решетка задвинута. Взбираюсь по лестнице на сторожевую башню над углом стены и жадно впиваюсь глазами в любимый пейзаж: полоса зелени вдоль реки, вся в черных прогалинах; светло– зеленые пятна болот, где колышутся молодые побеги камышей; сверкающая гладь озера.

Но что-то не так. Сколько я просидел под замком, упрятанный от мира: два месяца или десять лет? Всходы пшеницы на полях под стеной должны были к этому времени дружно подняться на восемнадцать дюймов. Но повсюду, кроме западной оконечности орошаемых участков, вижу лишь короткие желтоватые стебельки. Ближе к озеру много широких проплешин, а вдоль дамбы тянутся серые стога.

Заброшенные поля, парализованная солнцем площадь, пустые улицы – картина эта внезапно обретает в моих глазах новый и зловещий смысл. Люди покидают город – другого объяснения не найти, – и шум, который я слышал среди ночи два дня назад, означал не прибытие, а отъезд. При этой мысли сердце у меня екает (от ужаса? от радости). И все же, должно быть, я ошибаюсь: приглядевшись, вижу на площади двух мальчишек, которые мирно играют под шелковицей; да и судя по тому, что я видел в трактире, жизнь в городе идет своим ходом.

Дозорный, усевшись на высокий табурет, тупо смотрит с вершины башни в пустыню. Подхожу к нему почти вплотную, только тогда он наконец замечает меня и вздрагивает.

– Спускайся назад, – говорит он бесцветным голосом, – сюда подниматься запрещено.

Я его никогда раньше не видел. Только тут сознаю, что с тех пор, как сбежал на волю, за все время не видел никого из прежних солдат гарнизона. Почему вокруг одни чужие?

– Ты разве меня не знаешь? – спрашиваю я.

– Спускайся.

– Я сейчас, только сначала ответь мне на один очень важный вопрос. Понимаешь, мне, кроме

тебя, некого спросить – все то ли спят, то ли ушли. Ты скажи мне вот что: кто ты такой? Куда подевались все, кого я знал? Что случилось с полями? Все будто паводком размыло. Только с чего ему быть, паводку то? – Он слушает мое бормотание, и глаза его сужаются. – Ты уж прости за глупые вопросы, но меня лихорадка скрутила, я был прикован к постели, – этот книжный оборот вырывается у меня совершенно непроизвольно, – мне только сегодня разрешили подняться. Поэтому я…

– *Ты*, отец, в такую жару поосторожнее, – говорит он. Уши у него торчат из-под шапки, которая ему явно велика. – Тебе в эту жару лучше бы лежать.

– Да… Может, дашь водички попить? – Он протягивает мне фляжку, и я пью тепловатую воду, стараясь скрыть, как велика моя жажда.– Так объясни: что случилось?

– Это всё варвары. Они снесли вон там кусок дамбы и затопили поля. Самих их никто не видел. Они это ночью. А утром люди глядь – будто второе озеро. – Он успел набить трубку и протягивает ее мне. Я вежливо отказываюсь («Только кашлять буду, а мне это вредно»).– Да, так что крестьянам одно расстройство. Они говорят, урожай погиб, а сеять заново поздно.

– Худо дело. Стало быть, зима будет тяжелая. Придется нам затянуть пояс потуже.

– Уж точно, вам тут не позавидуешь. Они, варвары эти, могут ведь и по второму разу напакостить. Им только захотеть – возьмут и снова поля затопят.

Мы пространно толкуем с ним о варварах и об их коварстве. Они никогда не выходят биться в открытую, говорит он: у них привычка такая, чтоб, значит, сзади подкрасться и – ножом в спину.

– И чего они не хотят оставить нас в покое? Есть же у них своя земля, мало им?

Увожу разговор в другую сторону, вспоминаю прежние дни, когда на границе было спокойно. Он, выказывая на свой крестьянский манер уважение, называет меня «отец» и слушает с той рассеянной снисходительностью, с какой слушают болтовню выживших из ума стариков – все лучше, чем целый день пялиться в пустоту.

– Скажи-ка, – говорю я, – два дня назад я слышал, как ночью прискакали всадники: это что же, все войско вернулось?

– Да нет – смеется он.– Только несколько солдат. Их всех привезли в одной телеге. А сказать никто не сказал, тебе, видать, послышалось. Они от воды заболели – там, в пустыне, говорят, вода шибко плохая, – вот их и отослали назад.

– *Теперь ясно*! А то я никак не мог в толк взять, что за шум такой. Ну, а когда, думаешь, ждать назад большое войско?

– *Думаю*, теперь уже скоро. В ваших краях на подножном корму долго не проживешь, верно говорю? Я такой бедной земли отродясь не видел.

Спускаюсь по ступенькам башенной лестницы. После этого разговора чувствую себя чуть ли не древней развалиной. Странно, что его не предупредили, чтобы глядел в оба и не проморгал толстого старика в рваных обносках. Или, может быть, он засел там наверху со вчерашнего вечера, и ему не с кем было перебросится даже словом? Кто бы подумал, что я умею так складно врать! Уже далеко за полдень; Моя тень скользит рядом со мной расплывшейся чернильной кляксой. Мне кажется, что в этих четырех стенах я сейчас единственное живое

существо, не потерявшее способности двигаться. Мною овладевает такой восторг, что я готов запеть. Забываю даже о больной спине.

Открываю малые боковые ворота и выхожу из города. Мой приятель на сторожевой башне смотрит на меня сверху. Машу ему рукой, и он машет в ответ.

– Тебе шапка нужна! – кричит он.

Хлопаю себя по лысине, пожимаю плечами, улыбаюсь. Солнце палит вовсю.

Яровая пшеница и вправду загублена. Теплая рыжая грязь чавкает между пальцами моих ног. Кое-где еще попадаются лужи. Многие молодые растения вымыло из земли прямо с корнями. Но и те, что тянутся вверх, тоже все до одного пожелтели. Особенно пострадал участок, примыкающий к озеру. Там полегли все всходы, и крестьяне, не теряя времени, уже начали сгребать мертвые стебли в кучи, чтобы потом их сжечь. Поля, отдаленные от озера, расположены чуть выше, и перепад в несколько дюймов уберег их от затопления. Так что, вероятно, четвертую часть посевов можно будет спасти.

Что касается ирригационных сооружений, то дамба – низкая земляная стена протяженностью около двух миль, не дающая озеру выйти из берегов, когда летом вода достигает предельного уровня, – уже восстановлена, зато напрочь смыта вся разветвленная сеть каналов, распределяющих воду по полям. Плотина и водяное колесо на берегу озера не пострадали, но почему-то нигде не видно лошади, которая обычно ходит по кругу, приводя колесо в движение. Да, крестьян ждут многие дни тяжелой работы. Но весь их труд вновь пойдет насмарку, если того захочет горстка людей, вооруженных простыми лопатами. Как можем мы победить в такой войне? Какой смысл предпринимать рекомендованные учебниками стратегические маневры, набеги и карательные экспедиции в глубь вражеского тыла, если противнику ничего не стоит обескровить нас на нашей собственной территории?

Выбираю старую дорогу, которая, немного попетляв позади западной стены, переходит в тропинку, обрывающуюся у засыпанных песком руин. Интересно, разрешают ли детям играть здесь, как и прежде, или родители теперь не выпускают их из дома, пугая рассказами о притаившихся в засаде варварах? Поднимаю глаза на стену, но мой приятель на башне, кажется, задремал. Все, что мы раскопали в прошлом году, снова занесено песком. Лишь кое-где еще торчат угловые столбы построек, в которых, хочется верить, когда-то жили люди. Расчищаю в песке ямку и сажусь отдохнуть. Те, кто меня ищут, вряд ли догадаются прийти сюда. Я могу хоть целую вечность сидеть здесь, привалившись к древнему столбу со стершимися резными изображениями волн и дельфинов, и обгорать на солнце, иссыхать на ветру, а потом в конце концов замерзнуть в сугробе, но никто так и не найдет меня, пока в далеком, мирном будущем дети оазиса не вернутся на прежнее место игр, где набредут на откопанный ветром скелет доисторического обитателя пустыни в истлевших непонятных лохмотьях.

Меня будит холод. Солнце, огромное и красное, залегло на западном краю неба. Ветер усиливается: сбоку ко мне уже притиснулся холмик нанесенного песка. Больше всего хочется пить. Мой первоначальный замысел провести ночь здесь, среди призраков, дрожа от холода, в ожидании, когда из темноты вновь проступят знакомые стены и верхушки деревьев, явно ни куда не годится. За пределами этих стен меня ждет только голод. Трусливо, как мышь, перебегая из норы в нору, я в глазах всего города окончательно превращусь в преступника. Да и зачем мне делать за своих врагов их работу? Если они намерены погубить меня, то пусть, по крайней мере, будут сами виноваты в моей смерти. Беспросветный страх, владевший мною весь день, несколько ослабел. Если удастся возродить в себе хотя бы смутный отголосок прежнего

гнева, то, возможно, это приключение было не напрасным.

Громко колочу в ворота гарнизона. .

– Эй, вы что, не видите, кто пришел? Я нагулялся, можете впустить меня обратно.

К воротам кто-то подбегает; в тусклом свете сумерек мы вглядываемся друг в друга сквозь решетку: это тот солдат, которого приставили ко мне стражником.

– Тихо ты! – шипит он и отодвигает засовы. За спиной у него перешептываются, собирается народ.

Он хватает меня за руку и быстрым шагом ведет через двор. .

– Кто это? – спрашивает чей-то голос.

Меня так и подмывает ответить, вытащить из кармана ключ и помахать им, но внезапно понимаю, что этот поступок может оказаться опрометчивым. И потому молча стою и жду: мой тюремщик отпирает знакомую дверь, заталкивает меня в камеру, сам тоже туда заходит и поворачивает ключ изнутри.

– Запомни! – доносится до меня из темноты его сдавленный от ярости голос. – Если проболтаешься, что выходил, я тебя со света сживу! Понял? Ты мне за это заплатишь! Лучше молчи! Если кто спросит про сегодняшний вечер, скажешь, я водил тебя гулять, для разминки – а больше ни слова! Ты понял?

Отдираю пальцы, вцепившиеся мне в плечо, и осторожно отодвигаюсь подальше.

– Видишь, как легко я мог бы сбежать и укрыться у варваров? – бормочу я.– Почему, думаешь, я вернулся? Ты всего лишь простой солдат, твое дело только выполнять приказы. Но ты все равно подумай о том, что я тебе сказал. – Он хватает меня за руку, и я снова разжимаю его пальцы. – Подумай, почему я вернулся, и подумай, что бы с тобой было, если бы я сбежал навсегда. От этих в сиреневом пощады ждать нечего, ты же понимаешь. Так что подумай, что может случиться, если я сбегу снова. – Теперь уже я сам хватаю его за руку. – Но ты не бойся, я не проговорюсь. Можешь рассказывать им что хочешь, я тебя не выдам. Я-то понимаю, что такое страх. – Он недоверчиво молчит. – Знаешь, чего мне больше всего хочется? – говорю я. – Есть и пить. Просто умираю с голоду, весь день ничего не ел.

И вот все опять идет по-прежнему. Меня продолжают держать в этом абсурдном заточении. День за днем я лежу на спине и смотрю на столбик света, который вначале становится все ярче, а потом постепенно угасает. Я слушаю, как в отдалении позвякивают мастерки каменщиков, как за стеной стучат молотки плотников. Я ем, я пью, и – подобно всем остальным – я жду.

Сперва откуда-то издалека доносятся выстрелы мушкетов, жидкие, как хлопки игрушечного пугача. Затем, с более близкого расстояния, прямо с крепостного вала, гремят ответные залпы. Двор наполняется топотом бегущих ног. «Варвары!» – кричит кто-то, но, думаю, он ошибается. Перекрывая шум этой суматохи, сверху льется звон набата.

Припав ухом к щели под дверью, пытаюсь понять, что же происходит.

Шум на площади из разноголосого гула переходит в дружный рев, в котором отдельные голоса уже не различишь. Должно быть, встречать войско на улицы высыпал весь город, тысячи

ликующих людей. Треск мушкетов продолжается. Затем рев переходит с тенора на более высокий тембр и звучит все пронзительней, все возбужденнее. Сквозь него над площадью еле просачиваются медные переливы фанфар.

Искушение слишком велико. А что мне, собственно, терять? Отпираю дверь. Щурясь и загораживая глаза от нестерпимо ослепительного света, пересекаю двор, прохожу в ворота и присоединяюсь к задним рядам толпы. Ружейные залпы и гром рукоплесканий не смолкают. Стоящая рядом старуха в черном, чтобы не потерять равновесие, хватает меня за локоть и приподнимается на цыпочки.

– Вы что-нибудь видите? – спрашивает она.

– Да. Какие-то люди на лошадях, – отвечаю я; но она не слушает.

Вижу кавалькаду всадников, которые с развевающимися знаменами въезжают в городские ворота и, достигнув середины площади, один за другим спешиваются. Вся площадь окутана пылью, но мне видно, что всадники улыбаются и смеются; один из них скачет, победно подняв руки над головой, другой размахивает гирляндой цветов. Вперед они продвигаются медленно, потому что толпа обступает их, люди стараются к ним прикоснуться, радостно хлопают в ладоши, волчком крутятся на месте в упоении от собственного восторга. Дети мчатся мимо меня, протискиваясь между ногами у взрослых, чтобы оказаться поближе к героям. Вновь и вновь раскатисто гремят выстрелы с крепостных стен, г де собрался весело галдящий народ.

Но не все воины спешивается. Часть кавалькады, возглавляемая мрачнолицым молодым капралом, который везет зелено-золотое знамя своего батальона, пробивается сквозь толчею в дальний конец площади, и всадники начинают объезжать площадь по кругу, а толпа, колыхаясь, ползет за ними по пятам. Как вспыхнувший огонь, по рядам перебегает одно и то же слово: «Варвары!»

Коня, на котором едет капрал, ведет под уздцы солдат, дубинкой расчищающий дорогу знаменосцу. Следом едет другой всадник и тянет за собой веревку; она связывает за шеи цепочку идущих пешком людей: варвары, совершенно голые, шагают, как-то странно прижав руки к лицу, будто все до одного мучаются зубной болью. На мгновение меня озадачивает услужливая готовность, с которой они на цыпочках следуют за своим предводителем, но потом глаза случайно ловят блеск металла, и я сразу же все понимаю. Сквозь дырки, проколотые в ладонях и щеках каждого из этих людей, продето незатейливое проволочное кольцо. «Тотчас делаются кроткие, как овечки, – вспоминаю я слова солдата, который однажды видел этот фокус. – Думают только, как бы лишний раз не шевельнуться». К горлу подкатывает дурнота. Лучше бы я не выходил из камеры.

Благоразумно поворачиваюсь спиной, чтобы меня не заметили те двое, что вместе со своим конным эскортом замыкают процессию: едущий с непокрытой головой молодой капитан, для которого это первая боевая победа, и рядом с ним посмуглевший и осунувшийся после длительного похода полковник тайной полиции Джолл.

Объезд площади завершен, всем была дана возможность полюбоваться на двенадцать жалких пленников, и теперь любой вправе доказывать своим детям, что варвары – не выдумка. Толпа, подхватив с собой и меня, оттекает к главным воротам, где ей преграждают путь солдаты, вставшие полукругом; задние напирают на передних, и в конце концов людское месиво не может сдвинуться ни туда, ни сюда.

– Что случилось? – спрашиваю я у мужчины, стоящего рядом.

– Не знаю, – говорит он. – Помогите-ка мне его приподнять. – Помогаю ему посадить на плечи ребенка, которого он держит на весу одной рукой. – Тебе видно? – спрашивает он мальчика.

– Да.

– Ну и что же ты видишь?

– Они велят этим варварам стать на колени. А чего они будут с ними делать?

– Не знаю. Подождем и всё увидим.

Медленно, прилагая титанические усилия, поворачиваюсь и пробую вырваться из давки.

– Извините… простите… – бормочу я, – очень жарко… мне сейчас будет плохо…

Впервые за все это время на меня начинают оглядываться и показывать пальцами.

Я обязан вернуться в камеру. Хотя, конечно, этим я ничего не докажу, и, более того, мой уход останется незамеченным. Но ради себя самого, чтобы быть честным в собственных глазах, я обязан вернуться в прохладный мрак, закрыть дверь, повернуть в замке ключ, приказать себе не слышать патриотические кровожадные выкрики толпы, сомкнуть губы и никогда больше не произносить ни слова. Кто знает, может быть, я несправедлив к моим согражданам; может быть, в эту самую минуту башмачник сидит дома, стучит молотком по колодке и что-то напевает, чтобы заглушить в ушах шум с площади; может быть, несколько хозяек никуда не пошли, чистят на кухне горох и, чтобы чем-то занять непоседливых детей, рассказывают им сказки; может быть, кое-кто из крестьян продолжает спокойно заниматься делом и чинит разрушенные каналы. Если в этом городе у меня есть единомышленники, то как жаль, что я их не знаю! Но сейчас, когда я шагаю прочь от толпы, для меня важнее всего не дать осквернить себя зрелищем надвигающейся расправы и при этом не позволить яду бессильной ненависти к изуверам отравить мой разум. Спасти пленных я не могу, так пусть спасу хотя бы себя. Пусть, по крайней мере, будет известно – если, конечно, это станет известно, если в далеком будущем найдется кто-то, кому захочется понять наше время, – что на далекой пограничной заставе Великой Лучезарной Империи жил некогда один человек, который в душе не был варваром.

Прохожу в ворота гарнизона на двор. Иду к желобу умывалки, беру там пустое ведро и наполняю его. Выставив ведро перед собой и расплескивая воду, снова приближаюсь к толпе. «Извините», – бормочу я и проталкиваюсь вперед. Люди чертыхаются, отступают в сторону, ведро качается, вода льется на ноги, я упрямо протискиваюсь сквозь толкучку, пока с неожиданной быстротой не оказываюсь вдруг в самом переднем ряду и чуть не утыкаюсь в спины солдат, которые держатся за концы отделяющих их друг от друга длинных палок и цепью огораживают арену, где будет разыграно поучительное представление.

Четыре пленника стоят посреди площади на коленях. Остальные восемь, все еще связанные вместе, сидят на корточках в тени под стеной и, прижав ладони к щекам, смотрят на своих товарищей.

Те, что стоят в ряд на коленях, медленно сгибаются над лежащим на земле тяжелым круглым бревном. Шнур, который пропущен сквозь проволочное кольцо во рту первого пленного, пройдя под бревном, тянется наверх и проходит сквозь кольцо второго, оттуда ныряет под бревно, потом опять наверх – в третье кольцо, потом снова под бревно и – в четвертое кольцо. На моих глазах солдат затягивает шнур сильнее, и пленные сгибаются все ниже, пока не касаются бревна лицом. Один из них от боли дергает плечами и стонет. Трое других молчат, все их мысли сосредоточены на том, чтобы, подчиняясь шнуру, сгибаться как можно плавнее и

не дать проволоке разорвать щеки.

Действия солдата направляет, легонько помахивая рукой, полковник Джолл. И хотя в толпе я всего лишь один из множества, хотя глаза полковника, как всегда, спрятаны за темными щитками, я смотрю на него так пристально и в моем взгляде с такой силой светится вопрос, что Джолл – я это чувствую – сразу же меня замечает.

Отчетливо слышу произнесенное за спиной слово судья. Мне чудится, или люди действительно начинают от меня отодвигаться?

Полковник выходит вперед. Подойдя к пленным, он поочередно наклоняется над каждым из них, размазывает по голой спине горсть пыли и углем пишет какое-то слово. Читаю эти слова вверх ногами: ВРАГ… ВРАГ… ВРАГ… ВРАГ. Затем полковник отступает назад и складывает руки перед грудью. С расстояния не более двадцати шагов мы с ним молча смотрим друг на друга.

Вслед за этим начинается порка. Плетями солдатам служат толстые и тугие зеленые камышины, которые, рассекая воздух, опускаются на пленных с тяжелым хлюпаньем, похожим на шлепки валька о мокрое белье, и оставляют на спинах и ягодицах вздувшиеся красные полосы. Пленные очень осторожно распрямляют согнутые ноги и, съехав на живот, распластываются в пыли, все, кроме того, который стонал, а сейчас при каждом ударе охает.

Черный уголь и рыжая пыль, смешиваясь с кровью и потом, расплываются. Смысл этой игры, как я догадываюсь, в том, чтобы бить пленных до тех пор, пока пыль и надпись на спине не смоются.

Наблюдаю за лицом маленькой девочки, которая стоит в переднем ряду толпы, ухватившись за материнский подол. Глаза у нее округлились, во рту она держит палец: замершая, напуганная, она, не отрываясь, с любопытством глядит, как избивают этих больших голых дядей. И на лицах всех, кто меня окружает, даже на лицах тех, кто улыбается, вижу точно такое же выражение: не злоба, не кровожадность, а любопытство, столь ненасытное, что оно выпило из тела людей все соки, и жить продолжают лишь глаза, органы, призванные утолить этот новый по ощущению, неуемный голод.

Солдаты, проводящие экзекуцию, постепенно устают. Один из них стоит, уперев руки в бедра, тяжело дышит, улыбается и подмигивает толпе. Полковник Джолл коротко что-то говорит: все четверо прекращают работу, подходят к зрителям и предлагают им свои плети.

Какая-то девушка хихикает, закрывает лицо руками, упирается, но приятели выталкивают ее вперед. «Давай, давай, не бойся!» – подбадривают они. Солдат отдает ей плеть и подводит девушку к пленным. В растерянности, смущенная, она медлит и одной рукой все еще прикрывает лицо. Со всех сторон на нее сыплются крики, шутки, непристойные советы. Она замахивается, ловко перетягивает одного из пленных по ягодицам, бросает плеть и под гром рукоплесканий отбегает подальше.

Люди вырывают плети друг у друга, солдаты с трудом наводят порядок в этой свалке, я уже не вижу лежащих на земле пленных, потому что вокруг толкаются и лезут вперед, чтобы занять очередь или просто встать поближе, откуда лучше видно. Стою, всеми забытый, и зажимаю ногами ведро.

Но вот порка закончена, солдаты утверждаются в своих правах, толпа отползает назад, пространство посреди площади снова расчищено, хотя теперь оно несколько сузилось. .

Высоко над головой, так, чтобы все видели, полковник Джолл держит молоток, обычный четырехфунтовый молоток, каким вбивают колья палатки. И снова наши взгляды скрещиваются. Шум становится тише.

– Нет! – Это слово, первым вырвавшееся из горла, звучит пока хрипло и недостаточно громко. И снова: – Нет! – На этот раз ясно и звонко, словно в груди у меня ударил колокол. Солдат, загораживающий мне дорогу, споткнувшись, отшатывается в сторону. Я выбегаю вперед и поднимаю руки, чтобы толпа затихла: – Нет! Нет! Нет!

Поворачиваюсь к полковнику Джоллу и вижу, что он стоит всего в пяти шагах от меня, сложив руки перед грудью. Направляю на него указательный палец.

– Вы! – кричу я. Сейчас я скажу все. И пусть именно на него падет мой гнев. – Вы растлеваете наших людей!

Он и бровью не ведет, стоит и молчит.

– Вы! – Моя рука нацелена в него, как ружье. Мой голос заполняет площадь. Вокруг мертвая тишина; но, может быть, я так опьянен яростью, что ничего не слышу. .

Сзади на меня что-то обрушивается. Растягиваюсь в пыли, ловлю ртом воздух, чувствую, как спину обжигает знакомая боль. Дубинка несется ко мне сверху. Выставляю перед собой руки, и чудовищный удар приходится по запястью.

Главное – сейчас встать, хотя из-за боли это очень трудно. Поднимаюсь на ноги и смотрю, кто же меня бьет. Оказывается, это тот коренастый мужчина с сержантскими нашивками, который помогал солдатам пороть пленных. Согнув ноги в коленях и раздув ноздри, он уже занес дубинку для следующего удара.

– Подождите! – шепчу я и вытягиваю вперед безжизненно повисшую руку. – Вы мне ее, кажется, сломали!

Он с силой опускает дубинку, и я принимаю удар плечом. Прячу покалеченную руку, пригибаю голову и, вслепую двигаясь вперед, пытаюсь вцепиться в него. Удары осыпают голову, плечи. Наплевать: мне бы только выиграть несколько секунд, и, раз уж я начал говорить, скажу все до конца.

Хватаю сержанта за гимнастерку и прижимаю к себе. Он сопротивляется, но пустить в ход дубинку не может; я снова кричу, мой крик несется поверх его головы.

– Только не этим! – кричу я. Молоток спокойно лежит в сложенных на груди руках полковника Джолла. – Ведь вы бы даже зверя не ударили молотком. Даже зверя! – Захлестнутый волной ярости, хватаю сержанта за грудки и отшвыриваю прочь. Мне, смертному, на миг дарована сила богов. Так пусть же, пока этот миг длится, я употреблю ее во благо! – Смотрите! – Я показываю на четырех пленных, которые смиренно лежат на земле, касаясь губами бревна и по-обезьяньи прижав ладони к щекам: они знать не знают о молотке, ведать не ведают о том, что происходит у них за спиной; они испытывают облегчение оттого, что с их кожи выколотили оскорбительную надпись, и надеются, что экзекуция на этом кончилась. Воздеваю сломанную руку к небу: – Задумайтесь! кричу я. – Мы с вами – великое чудо творенья! Но далеко не после всякого удара наше чудесно сотворенное тело способно себя залечить! Как же!.. – Слова ускользают от меня. – Посмотрите на них! – начинаю я заново.– Они ведь ЛЮДИ!

В толпе вытягивают шеи, чтобы разглядеть пленных и даже мух, которые уже садятся на

залитые кровью спины. Слышу приближающийся удар и поворачиваюсь ему навстречу. Дубинка с маху бьет меня наискось по лицу. «Я ослеп!» – пошатнувшись, думаю я, когда все передо мной заслоняет чернота. Глотаю кровь: что-то, словно распускающийся цветок, щекочет лицо розовой теплотой, которая тут же переходит в огненно-красную адскую боль. Прижимаю к лицу руки, топчусь кругами на месте и думаю только о том, чтобы не закричать и не упасть.

Что я собирался сказать дальше, вспомнить не могу. Чудо творения – хочу зацепиться за эту мысль, но она ускользает, как облачко дыма. Почему– то вдруг приходит в голову, что мы, не задумываясь, давим насекомых, а они ведь, каждое по-своему, тоже чудо творенья – и жуки, и тараканы, и черви, и муравьи…

Отнимаю руки от глаз, и из черноты вновь возникает серый, плавающий в слезах мир. Моя радость так безгранична, что я перестаю чувствовать боль. Когда двое солдат тащат меня сквозь перешептывающуюся толпу назад в камеру, ловлю себя на том, что даже улыбаюсь.

Эта улыбка, эта вспышка радости оставляет после себя неясное беспокойство. Я понимаю, что они допустили ошибку, разделавшись со мной так коротко и просто. Потому что из меня плохой оратор. Что мог бы сказать я в своей речи, если бы они дали мне ее продолжить? Что лучше уж убить человека в бою, чем молотком раздробить ему ноги? Что когда девушке разрешают выпороть мужчину, это позор для всех? Что насилие, превращенное в зрелище, растлевает невинные души? Как, право, ничтожно и жалко прозвучали бы слова, которых мне не дали произнести, – такими словами вряд ли поднимешь народ на бунт. Да и, если на то пошло, разве я стремлюсь отстоять нечто более значительное, чем старый обычай обращаться с пленным врагом благородно, и разве борюсь против чего-то более значительного, чем новая наука жестокого обращения с людьми, позволяющая ставить их на колени и убивать опозоренными и униженными в собственных глазах? Разве осмелился бы я, глядя в глаза толпе, потребовать справедливости по отношению к варварам, этим нелепым пленникам с выставленными вверх задами. Справедливость: стоит произнести это слово, и к чему мы придем? Гораздо проще закричать: «Нет!» Гораздо проще вытерпеть побои и превратиться в мученика. Гораздо проще положить голову на плаху, чем защищать варваров во имя справедливости: ибо куда заведут рассуждения о справедливости, как не в тупик, выход из которого лишь один – сложить оружие и открыть ворота города перед народом, чью землю мы подвергли поруганию? Старый судья, поборник всеобщего равенства перед законом, по-своему объявивший себя врагом Государства, оскорбленный и брошенный в тюрьму человек железных принципов, как видите, тоже не лишен колебаний и сомнений.

Нос, я знаю, у меня сломан, и скула, вероятно, тоже, в том месте, где дубинка рассекла щеку до кости. Левый глаз распух и затек.

Онемевшее лицо мало-помалу обретает чувствительность, и боль, волнами накатывающая каждые одну-две минуты, так нестерпима, что я больше не могу лежать на месте. Когда боль достигает наивысшей точки, бегаю по камере и, держась за лицо, вою, как собака; в благословенные мгновенья, когда боль ненадолго отпускает, глубоко дышу, чтобы взять себя в руки и не завопить самым постыдным образом. Слышно, как рев толпы на площади колышется то громче, то тише; впрочем, может быть, это просто шумит у меня в ушах.

В обычное время приносят ужин, но есть я не могу. Мне невмоготу сидеть неподвижно, я вынужден расхаживать взад-вперед или раскачиваться на четвереньках, чтобы только не кричать, не рвать на себе одежду, не раздирать когтями свою плоть – словом, не делать всего того, на что способны люди, когда им больше не под силу терпеть страдания. Я плачу и чувствую, как слезы жалят открытые раны. Я напеваю старую песенку про наездника и

можжевеловый куст, снова и снова повторяя знакомые слова, даже когда они уже утрачивают всякий смысл. Раз, два, три, четыре… считаю я. Если продержишься до утра, говорю я себе, это будет триумфальная победа.

Далеко заполночь, когда голова так кружится от усталости, что меня бросает из стороны в сторону, я наконец сдаюсь и рыдаю взахлеб, как ребенок: прислонившись к стене, сижу в углу и плачу, слезы катятся непрерывным потоком. Боль приливает и отливает, подчиняясь своим собственным законам, и я все плачу и плачу. Сон настигает меня внезапно, как удар молнии. Очнувшись в сером жидком свете утра, все так же скрюченный в углу, я изумлен и даже не сознаю, что ночь прошла. И хотя боль не оставляет меня, чувствую, что, если не двигаться, можно будет терпеть ее и дальше. Она и вправду перестала быть чем-то чужеродным. Может быть, она скоро станет для меня такой же неотъемлемой и естественной привычкой, как дыхание.

И потому осторожно вытягиваюсь вдоль стены, поудобнее пристраиваю больную руку под мышку и снова проваливаюсь в сон, в круговорот образов, среди которых я ищу лишь один, отметая прочь все другие, что несутся на меня, как подхваченные ветром листья. Я ищу ту девочку. Она стоит на коленях, спиной ко мне, перед замком, который вылепила то ли из снега, то ли из песка. На ней длинное темно-синее платье. Подойдя ближе, вижу, что она что-то выскребает из самого нутра замка.

Она чувствует на себе мой взгляд и поворачивается. Оказывается, я ошибся, она вылепила не замок, а глиняную печку. Из отверстия в задней стене печки вьется дым. Девочка что-то мне протягивает, какой-то комок, и я неохотно пытаюсь разглядеть сквозь туман, что это такое. Трясу головой, но туман перед глазами не рассеивается.

На ней круглая, расшитая золотом шапочка. Волосы тяжелой косой перекинуты через плечо: в косу вплетена золотая нить. «Почему ты так нарядно одета? – хочется спросить мне. – Я никогда еще не видел тебя такой красивой». Она улыбается: какие у нее прекрасные зубы, как ясно светятся ее ярко-черные глаза! И теперь я наконец вижу то, что она мне протягивает: это – хлеб, еще горячий, с твердой, дымящейся, треснувшей корочкой. Меня переполняет благодарность. «Ты же еще совсем ребенок, – хочу сказать я. – Как ты научилась так хорошо печь хлеб в пустыне?» Развожу руки, чтобы обнять ее, и, проснувшись, чувствую, как рану на щеке обжигают слезы. И хотя же дремота тотчас снова утягивает меня в свою берлогу, я, как ни стараюсь, не могу вернуться в тот сон и опять ощутить вкус хлеба, от которого рот наполнился слюной.

В моем кабинете за письменным столом сидит полковник Джолл. В комнате совершенно пусто – ни книг, ни папок, только голые стены да еще ваза со свежими цветами. Унтер-офицер, тот самый красавчик – как его зовут, не знаю, – ставит на стол ларец из кедрового дерева и отходит в сторону.

Полковник что-то сверяет в лежащих перед ним бумагах, затем поднимает глаза:

– Среди вещей, обнаруженных в вашей квартире, был и этот ларец. Я хотел бы, чтобы вы ознакомились с его содержимым. Оно несколько необычно. В ларце лежит около трехсот табличек из белого тополя, каждая длиной приблизительно в восемь дюймов, шириной – в два дюйма. Большая часть табличек перевязана бечевкой. Дерево, из которого они выточены, очень сухое и ломкое. Некоторые таблички перевязаны недавно, на других бечевка уже истлела. Если бечевку ослабить, таблички распадаются на две половинки с плоскими внутренними поверхностями, на которых имеются надписи, сделанные непонятными значками. Думаю, вы согласитесь с этим описанием. .

Молча смотрю в его черные стекла. Он продолжает:

– Есть основания полагать, что это – послания, которыми вы обменивались с другими лицами в течение пока не установленного нами периода времени. Ваш долг объяснить смысл этих посланий и назвать тех, с кем вы ими обменивались.

Он вынимает из ларца одну табличку и щелчком посылает ее по полированному столу ко мне.

Гляжу на иероглифы, выведенные неизвестным мне человеком, который давным-давно мертв. Я даже не знаю, как их читать: справа налево или слева направо. За то время, что я долгими вечерами изучал эту коллекцию, мне удалось выделить более четырехсот, а точнее почти четыреста пятьдесят значков, не повторяющих друг друга. Но каков их смысл, понятия не имею. Соотносится ли каждый из них с каким-то определенным предметом, можно ли считать, что, например, круг обозначает солнце, треугольник – женщину, волнистая линия – озеро; или же круг обозначает именно круг, треугольник – треугольник, а волнистая линия – волнистую линию? А может быть, они показывают различное положение языка, губ, гортани, легких, необходимое для произнесения многочисленных, не поддающихся воображению звуков вымершего варварского языка? Или же эти четыреста пятьдесят иероглифов не что иное, как каллиграфический орнамент, скрывающий под собой ограниченный набор из двадцати или тридцати основных значков, примитивное начертание которых я не могу уловить из-за своего скудоумия?

– Он шлет привет дочери,– говорю я. И с удивлением слышу собственный голос: он звучит хрипло и гнусаво. Веду пальцем по иероглифам справа налево.– Которую, как он пишет, он давно не видел. Он надеется, что она счастлива и живет в достатке. Он выражает надежду, что отары принесли хороший приплод. У него приготовлен для нее подарок, пишет он, но она получит его только при их следующей встрече. Он заверяет ее в своей любви. Подпись прочесть трудно. Возможно, он подписался просто «твой отец», а может быть, написано и что-то другое, например, его имя.

Сую руку в ларец и достаю другую табличку. Унтер-офицер уселся за спиной Джолла, положил на колени открытый блокнотик и пристально смотрит на меня, держа карандаш наготове.

– А на этой табличке написано вот что, – говорю я. – «Как ни грустно, должна сообщить тебе плохие новости. К нам пришли солдаты и увели твоего брата. Каждый день хожу в крепость просить, чтобы его отпустили. Сижу у стены в пыли, с непокрытой головой. Вчера первый раз прислали какого– то человека поговорить со мной. Он сказал, что твоего брата здесь больше нет. Сказал, что его отсюда выслали. «Куда?» – спросила я, но он не ответил. Матери ты ни о чем не рассказывай, лучше вместе со мной молись о его спасении».

– Теперь поглядим, что расскажет следующая табличка.– Карандаш по– прежнему нацелен на бумагу, но унтер ничего не пишет и сидит не шелохнувшись. – «Вчера мы ходили за твоим братом. Нас провели в комнату, где он лежал на столе, зашитый в простыню». – Джолл медленно откидывается на спинку стула. Унтер закрывает блокнот и приподнимается, но Джолл жестом удерживает его на месте. – «Они хотели, чтобы я сразу же его забрала. Но я потребовала, чтобы сначала мне разрешили на него взглянуть. «А вдруг вы отдадите мне чужого, – сказала я. – У вас здесь очень много мертвецов, ведь погибло так много смелых парней». Я распорола простыню и увидела, что это и вправду он. Оба г лаза у него были зашиты нитками. «Зачем вы это сделали?» – спросила я. «У нас такой обычай», – сказал он. Я распорола простыню до конца и увидела, что все тело у него в шрамах, а ноги распухли и сломаны. «Что с ним случилось?» – спросила я. «Не знаю, – сказал тот человек. – У нас ничего про это не записано; если у тебя есть вопросы, иди к сержанту, но он очень занят». Нам

пришлось похоронить твоего брата прямо там же, возле их крепости, потому что он уже смердел. Пожалуйста, расскажи обо всем матери и постарайся ее утешить».

– Так, а теперь посмотрим, что на этой табличке. Видите, здесь всего один иероглиф. У варваров этот значок соответствует слову «война». Второе его значение – «возмездие», а если перевернуть вверх ногами, вот так, он может означать «справедливость». Поэтому правильно определить его смысл невозможно. Варвары вообще народ хитроумный… То же относится и к остальным табличкам. – Я опускаю здоровую руку в ларец и перемешиваю гладкие деревянные плашки. Вместе они образуют некую аллегорическую мозаику. Читать их можно в любом направлении. Более того, каждую отдельную табличку можно многократно читать по-разному. Выложенные в ряд, они могут читаться как хозяйственная книга, но в то же время и как план войны, а если повернуть их набок, то по ним можно прочесть историю последних лет Империи – я имею в виду прежнюю Империю. Ученые расходятся во мнениях, как правильно толковать эти писания древних варваров. Подобные аллегорические мозаики во множестве закопаны в разных местах пустыни. Этот набор я нашел меньше, чем в трех ми. лях отсюда, в развалинах общественного здания. Вероятно, такие таблички следует искать и на кладбищах, хотя обнаружить захоронения варваров не всегда просто. Самый верный способ копать наугад; вполне возможно, что прямо у себя под ногами вы наткнетесь на клочки ткани, черепки, останки мертвецов. Не следует забывать и про воздух: он полон стонов и криков. Вот они уж никуда не исчезают; если прислушаться, только очень внимательно и с сочувствием, вы непременно услышите, как они вечным эхом витают над землей. Лучше всего они слышны ночью; бывает, что вы никак не можете уснуть – это оттого, что до вашего слуха донеслись голоса мертвых: их крики, как и их письмена, дают простор для толкований… Я закончил переводить. Благодарю вас.

Произнося эту речь, я ни на миг не спускал глаз с Джолла. Он сидел не шевелясь и лишь один раз сдвинулся с места, удержав за рукав своего помощника, который при упоминании об Империи поднялся со стула, чтобы дать мне пощечину.

Пусть только подойдет ближе – ударю что есть силы. Прежде чем сойти в могилу, я оставлю на них свой след.

– Вы даже не представляете себе, до чего вы утомили нас своим поведением, – говорит полковник. – Из всех приграничных чиновников только вы, вы единственный, отказались с нами сотрудничать. Буду откровенен: меня совершенно не интересуют эти ваши деревяшки. – Небрежно взмахнув рукой, он показывает на раскиданные по столу таблички. – Скорее всего это обыкновенные игральные фишки. В некоторых здешних племенах, как мне известно, распространены игры с подобными дощечками… Я прошу вас все тщательно взвесить: на что вы, собственно, рассчитываете? Остаться в той же должности никто вам не разрешит. Вы опозорили себя с ног до головы… И даже если вас не привлекут к судебной ответственности…

– А я как раз хочу, чтобы меня привлекли! – кричу я. – Сколько мне еще ждать? Когда будет суд? Когда мне дадут возможность защитить себя? – Я разъярен. Косноязычия, поразившего меня перед толпой на площади, как ни бывало. Если бы я мог сейчас публично, на открытом судебном процессе выступить против этих людей, я нашел бы слова, чтобы пристыдить их. Нужны только здоровье и силы: чувствую, как гневные слова жарко теснятся в моей груди. Но пока человек здоров и у него есть силы обвинить их, они ни за что не дадут выступить ему на суде. Они запрут меня в темницу и будут держать там до тех пор, пока я не превращусь в бормочущего чепуху идиота, в собственную тень; а вот тогда уж потащат на суд и при закрытых дверях за пять минут разделаются с формальностями, которые так их раздражают.

– Как вы знаете, – говорит полковник, – до отмены чрезвычайного положения гражданские

лица отстраняются от судопроизводства, и оно переходит в компетенцию Третьего отдела. – Он вздыхает. – Вы, судья, видимо, полагаете, что мы не решаемся провести суд, потому что нас смущает ваш авторитет в городе. Но, как мне кажется, вы не отдаете себе отчета, насколько вы себя скомпрометировали нерадивым отношением к своим обязанностям, пренебрежением к друзьям и общением с недостойными людьми. Я говорил со многими, и все, как один, возмущены вашим поведением.

– Моя личная жизнь никого не касается!

– Тем не менее могу сообщить, что наше решение освободить вас от занимаемой должности нашло поддержку в самых широких кругах. Сам я ничего против вас не имею. Несколько дней назад, когда я вновь сюда приехал, я считал, что мне достаточно будет получить от вас ясный ответ на всего один простой вопрос, и затем вы сможете вернуться к вашим наложницам свободным человеком.

Внезапно я догадываюсь, что это оскорбление подвох, что, возможно, в силу каких-то других причин эти двое будут довольны, если я сорвусь и потеряю над собой власть. Полыхая гневом, чувствуя, как все во мне напрягается, сдерживаю себя и молчу.

– Однако, судя по всему, теперь у вас появилась новая цель, – продолжает он. – Вы, кажется, решили прославиться в роли борца за справедливость. В роли героя, который ради своих принципов готов пожертвовать свободой. Но позвольте спросить: вы действительно убеждены, что ваши сограждане видят в вас именно то, что вам хочется? Можете мне поверить: в глазах города вы не герой, а просто шут, местный сумасшедший. Ходите грязный, от вас так воняет, что хоть нос зажимай. Вы похожи на старого нищего, на мусорщика. Городу вы больше не нужны, и он не примет вас обратно ни в каком качестве. Здесь для вас все кончено… Вы, полагаю, хотите войти в историю как мученик. Но кто впишет ваше имя в учебники истории? Нынешние пограничные беспорядки – мелкий незначительный инцидент. Через некоторое время беспорядки кончатся и граница вновь погрузится в спячку лет на двадцать… История задворков мира никого не интересует .

– Пока вы сюда не приехали, никаких беспорядков на границе не было,

– говорю я.

– Чепуха. Вы просто не располагаете сведениями. ВЫ живете в прошлом. Вам кажется, что мы воюем с разрозненными горстками кочевников. Но на самом деле нам противостоят хорошо организованные силы врага. Если бы вы ходили в поход с экспедиционными войсками, вы бы убедились воочию.

– И кто же этот враг, которого я должен бояться? уж не те ли жалкие пленные, которых вы сюда привели? Неужели вы говорите про них? Враг, полковник, это вы сами! – Я больше не в силах сдерживаться. Грохаю кулаком по столу.– Да, враг – вы! Это вы затеяли войну, это вы в изобилии поставляете варварам мучеников, и началось это не сейчас, а еще год назад, когда вы учинили здесь свою первую зверскую расправу! История подтвердит мою правоту!

– Чепуха! Это даже не войдет в историю, инцидент слишком малозначителен. – На вид он все так же невозмутим, но я уверен, что его проняло.

– Вы грязный палач! Вам место на виселице!

– Внемлите судье, внемлите борцу за справедливость, – бормочет он себе под нос.

Мы пристально смотрим в глаза друг другу.

– Ну что ж. – Он подравнивает на столе бумаги. Сейчас вы напишете мне отчет обо всем, что произошло между вами и варварами во время вашей недавней, никем не санкционированной поездки.

– Я отказываюсь.

– Прекрасно. Наш разговор закончен. – Он поворачивается к своему помощнику. – Передаю его вам.– Встает и выходит из комнаты. Я молча гляжу на унтера.

Щека у меня распухла: ни разу не промытая, не забинтованная рана воспалилась. Поверх нее жирной гусеницей запеклась корка. Левый глаз заплыл, от него осталась только узкая щель, нос превратился в бесформенный пульсирующий комок. Дышать приходится ртом.

Я лежу, вдыхая вонь засохшей блевотины, и меня преследуют мысли о воде. Уже два дня мне не дают пить.

В моих страданиях нет ничего возвышающего. И боль – лишь малая толика того, что я именую страданиями. Меня заставляют полностью подчиниться элементарным потребностям моего тела, желающего пить, отправлять нужду и найти позу, в которой боль мучает его как можно меньше. Когда унтер-офицер Мендель и его подручный в первый раз. приволокли меня сюда, зажгли лампу и заперли дверь, я спрашивал себя, какую степень боли способен вынести тучный, изнеженный старик во имя своих чудаковатых представлений о курсе, которым надлежало бы следовать Империи. Но моих палачей не интересовали степени боли. Их задача была наглядно объяснить мне, что значит ощущать себя просто телом, телом, которое живет только самим собой, телом, которое способно иметь собственные понятия о справедливости лишь до тех пор, пока оно цело и здорово, и которое очень быстро забывает о всякой философии, когда ему прижимают голову к полу, запихивают в горло трубку и кувшин за кувшином вливают соленую воду, пока кашель, спазмы и конвульсии не извергают ее обратно. Они пришли в мою камеру совсем не для того, чтобы выжать из меня все, что я говорил варварам, и все, что варвары говорили мне. Поэтому я не мог бросить им в лицо заготовленные звонкие фразы. Они пришли, чтобы показать мне, что на самом деле стоит за словом Человек, и всего за час сумели растолковать очень многое.

И вопрос не в том, у кого из нас больше терпения. Поначалу я внушал себе: «Они сидят в соседней комнате и обсуждают меня. Они говорят: «Интересно, долго еще ждать, когда он сломается? Через часик зайдем к нему и проверим».

Все совсем не так. У них нет никакой хитро продуманной системы пыток и унижений. Два дня я сижу без воды и пищи. На третий день меня кормят. «Извини, – говорит стражник, тот, что обычно приносит мне еду. – Мы забыли». И забыли они вовсе не по злобе. У каждого из моих мучителей есть своя собственная жизнь. Я для них отнюдь не центр мирозданья. Подручный Менделя в обычные дни, вероятно, пересчитывает на складе мешки с провиантом или, кляня жару, патрулирует оросительные каналы. Да и сам Мендель – я в этом уверен – тратит на меня гораздо меньше времени, чем на чистку своих нашивок и пряжек. Иногда, под настроение, он заходит ко мне и дает очередной урок человековедения. Долго ли еще я смогу – выносить непредсказуемость их нападений? И что будет, если я сломаюсь, начну рыдать и валяться у них в ногах, а нападения все равно будут продолжаться?

Меня выводят во двор. Я стою перед ними, прикрывая наготу и осторожно держа на весу больную руку, – старый усталый медведь, которого так долго травили, что он перестал

огрызаться.

– А ну-ка бегом, – говорит Мендель.

Под палящим солнцем обегаю двор по кругу. Едва начинаю бежать медленнее, он шлепает меня тростью по ягодицам, и я прибавляю ходу. Солдаты отрываются от послеобеденного отдыха и наблюдают за мной из тенистых уголков двора, судомойки стоят на крыльце кухни, дети глазеют сквозь решетку ворот.

– Больше не могу! – задыхаясь, шепчу я. – Мне плохо! – Останавливаюсь, роняю голову на грудь и хватаюсь за сердце. Все терпеливо ждут, пока я отдышусь. Затем трость тыкается мне в зад, и я снова плетусь трусцой, так медленно, что меня обогнал бы любой идущий обычным шагом.

А еще я их потешаю. Они натягивают веревку на уровне колен, и я прыгаю через нее туда и обратно. Они подзывают внука поварихи и протягивают ему конец веревки.

– Держи ровно, – велят они, – а то он зацепится и упадет.

Ребенок двумя руками крепко держит веревку и сосредоточенно ждет, когда я прыгну. Но Я упрямлюсь. Трость ощупью прокладывает себе дорогу и вонзается между ягодицами.

– Прыгай, – вполголоса приказывает Мендель. Я разбегаюсь, подпрыгиваю, врезаюсь в веревку и застреваю на месте. От меня пахнет дерьмом. Мыться мне не разрешают. Мухи летают за мной по пятам, вьются над сочной раной на щеке и, едва я на миг останавливаюсь, садятся мне на лицо. То и дело отмахиваюсь от них, и рука при этом движется у меня совершенно машинально, как хвост у коровы.

– Скажи ему, чтобы в другой раз больше старался,– говорит Мендель ребенку. Мальчик улыбается и отводит глаза. Сижу в пыли и жду, что Мендель придумает дальше. – Умеешь прыгать через скакалку? – спрашивает он мальчика.

– Дай ему веревку, пусть он тебе покажет.

Делаю, что приказано.

Когда они в первый раз вытащили меня во двор, я испытывал нестерпимый стыд оттого, что стою перед этими бездельниками в чем мать родила, да еще и развлекаю их своим дрыганьем. Но теперь я забыл о стыде. Теперь я думаю только об одном: о той неизбежной страшной минуте, когда у меня подкосятся ноги или когда клешнями сожмет сердце, и я буду вынужден остановиться; но когда это случается, всякий раз с удивлением обнаруживаю, что, дав мне немного передохнуть и применив небольшую дозу боли, они способны вновь вывести меня из оцепенения и заставить бегать, прыгать, скакать или ползать еще некоторое время. Наступит ли предел, когда я лягу на землю и скажу: «Убейте меня, я больше так не могу – уж лучше умереть»? Иногда мне кажется, что предел этот совсем близко, но потом выясняется, что я снова ошибся.

Я даже не могу утешить себя мыслью, что все это возвеличивает мой дух. Среди ночи часто просыпаюсь со стоном, потому что во сне заново переживаю их мелочные издевательства. Вряд ли мне дадут умереть по– человечески, скорее всего я сдохну, как собака в канаве.

А потом однажды дверь распахивается, и, выйдя во двор, я вижу целый взвод, построенный по стойке «смирно».

– Прошу.– Мендель протягивает мне женскую ночную рубашку. – Наденьте.

– Зачем?

– Не хотите, можете идти голым, не возражаю.

Я натягиваю ситцевую рубашку через голову. Она не доходит даже до колен. Краем глаза вижу, как две молодых кухарки, давясь от смеха, ныряют обратно в кухню.

Руки мне заложили за спину и связали.

– Вот и пришло время, судья, – шепчет Мендель мне в ухо. – Постарайтесь вести себя, как мужчина. Мне не показалось, от него действительно несет перегаром.

Под конвоем меня выводят со двора. Возле шелковиц, там, где земля красна от сока осыпавшихся ягод, собралась кучка зрителей. Дети залезли на деревья и карабкаются по веткам. При моем появлении наступает тишина.

Солдат забрасывает на шелковицу новую белую пеньковую веревку; один из сидящих на дереве мальчишек ловит ее, пропускает кольцом через ветку и скидывает вниз.

Понимаю, что это просто очередная потеха, новый способ убить время и развлечь людей, которым надоели прежние жестокие забавы. Тем не менее внутри у меня все дрожит.

– Где полковник? – шепчу я. Никто и бровью не ведет.

– Вы хотите что-нибудь сказать? – спрашивает Мендель. – Можете сказать все, что желаете. Мы предоставляем вам такое право.

Гляжу в его ясные голубые глаза, такие прозрачные, словно в них вставлены хрустальные пластинки. Он тоже глядит на меня. Понятия не имею, что он сейчас видит. Думая о нем, твержу про себя: .мучитель... палач... но оба эти слова звучат как-то чужеродно; чем дольше я их повторяю, тем чужероднее они становятся, пока наконец не превращаются в камушки, давящие мне на язык. Возможно, этот человек в самом деле палач, как и его постоянный подручный, как и их полковник; возможно, в одном из учреждений столицы в их платежных карточках, в графе «должность» так и написано, хотя, думаю, там они значатся офицерами безопасности. Но когда я гляжу на него, то вижу лишь ясные голубые глаза, грубоватое, хотя и довольно красивое лицо, хорошие зубы, которые кажутся слишком длинными из-за чуть осевших десен. Он занимается моей душой: каждый день он препарирует мою плоть, извлекает оттуда душу и выносит ее на свет; за годы своей работы он наверняка перевидал множество душ, но их врачевание, по-моему. не оставило на нем существенного отпечатка, как врачевание сердец не оставляет заметного отпечатка на лекаре.

– Я упорно пытаюсь понять, как вы ко мне относитесь, – говорю я. Несмотря на все усилия, я лишь еле слышно бормочу, голос то и дело срывается, мне страшно, с меня капает пот. – Возможность услышать от вас несколько слов для меня во много раз ценнее, чем право обратиться к этим людям, ибо мне в любом случае нечего им сказать. Я бы очень хотел понять, почему вы посвятили себя этой работе. И узнать, как вы относитесь ко мне, человеку, которого вы столько мучали, а теперь, полагаю, вознамерились убить.

Витиеватые фразы, срывающиеся с моих губ, повергают меня в изумление. Неужели я настолько потерял разум, что сознательно лезу на рожон?

– Видите эту руку? – Он подносит кулак почти вплотную к моему лицу.

– Когда я был моложе, – он разжимает кулак, – я вот этим пальцем, – он выставляет указательный палец вперед, – мог насквозь проткнуть тыкву. – Он прикладывает палец мне ко лбу и надавливает. Отступаю на шаг назад.

У них готов для меня даже колпак – мешок из-под соли, который они надевают мне на голову и шнурком завязывают на шее. Сквозь прореху в рядне вижу, как они приносят лестницу и прислоняют ее к дереву. Меня подводят к лестнице, я ставлю ногу на нижнюю перекладину, узел петли лежит у меня на плече.

– А теперь поднимайтесь, – говорит Мендель.

Поворачиваю голову и смутно различаю сзади двух солдат, которые держат конец веревки.

– Со связанными руками мне не взобраться, – говорю я. Сердце гулко стучит.

– Поднимайтесь, – командует он и поддерживает меня за локоть. Веревка натягивается. – Подтяните короче, – приказывает он.

Взбираюсь по лестнице, он поднимается следом, направляя мои движения. Считаю перекладины – вот уже десятая. Листья обступают меня со всех сторон. Останавливаюсь. Мендель еще крепче ухватывает меня за локоть.

– Что, думаете мы с вами играем? – Он говорит это сквозь зубы, с какой-то непонятной яростью. – Думаете, я бросаю слова на ветер?

Под мешком я обливаюсь потом, мне щиплет глаза.

– Нет,– говорю я.– Я вовсе не думаю, что вы играете.– Но знаю, что, пока они натягивают веревку, это лишь забава. Стоит веревке ослабнуть, я свалюсь – и умру.

– Ну и что вы мне скажете?

– Мои переговоры с варварами не имели никакого отношения к военным делам. Я ездил по личным причинам. Я поехал туда, чтобы вернуть девушку ее родным. Никакой другой цели у меня не было.

– Это все, что вы хотите сказать?

– Еще я хочу сказать, что ни один из людей не заслуживает смерти. – Одетый в нелепую женскую рубашку, с мешком на голове, стою на верхней перекладине, и от страха к горлу подступает тошнота. – Я хочу жить. Этого хочет любой человек. Жить, жить и жить. Несмотря ни на что.

– Хотеть – мало. – Он отпускает мой локоть. Чуть не падаю, но веревка удерживает меня. – Теперь вам понятно? – Он слезает вниз, оставив меня на лестнице одного.

Глаза щиплет уже не от пота, а от слез. Рядом со мной в листве что– то шуршит.

– Дяденька, а вы чего-нибудь видите? – спрашивает детский голос.

– Нет.

mir-knigi.org

– Эй вы, мартышки, а ну слезайте! – кричит кто-то снизу.

По колебаниям веревки догадываюсь, что дети перебираются с ветки на ветку.

Время идет, я осторожно балансирую на лестнице, чувствуя в выемке подошвы обнадеживающую твердость деревянной перекладины, и стараюсь не шататься, чтобы веревка оставалась натянутой как можно туже.

Как скоро толпе наскучит глазеть на человека, неподвижно стоящего на лестнице? Сам же я готов стоять так бесконечно, я вынесу и бурю, и град, и наводнение, я буду стоять, пока не сгнию, пока не превращусь в скелет – только бы жить!

Но вот веревка натягивается сильнее, я даже слышу, как она шуршит о кору, и, чтобы петля не удавила меня, приподнимаюсь на цыпочки и вытягиваю шею.

Так, значит, мы вовсе не состязаемся в терпении: если толпа недовольна, правила игры мгновенно меняются. Но что толку винить толпу? Козел отпущения выбран, праздник объявлен открытым, законы не действуют – какой же дурак не прибежит на общее веселье? Да и, собственно говоря, что, кроме несоблюдения внешних приличий, так уж возмущает меня в этих, введенных новой властью спектаклях унижений, страданий и смерти? И что, интересно, запомнится людям из моего собственного правления, кроме разве что переноса боен с рыночной площади на окраину, предпринятого двадцать лет назад из соображений благопристойности? Я хочу что-то выкрикнуть, обозначить каким-нибудь словом свой слепой страх или просто завопить, но веревка натянулась так туго, что я задыхаюсь и теряю дар речи. Кровь стучит в уши, как барабан. Отрываюсь от перекладины. Плавно раскачиваюсь в воздухе, ударяясь о лестницу, и дрыгаю ногами. Барабанная дробь в ушах звучит все медленнее и отчетливее, постепенно вытесняя остальные звуки.

Стою перед стариком вождем, щурю г лаза от ветра и жду, когда старик заговорит. Дуло древнего ружья по-прежнему торчит между ушей его лошади, но нацелено оно не в меня. Я отчетливо сознаю, как огромно раскинувшееся над нами небо, я ощущаю близость пустыни.

Слежу за его губами. Он вот-вот заговорит: я должен слушать очень внимательно, должен уловить каждый произнесенный им слог, чтобы позже, вспоминая и перебирая в уме сказанное, найти ответ на вопрос, который сейчас вдруг птицей упорхнул из моей памяти.

Вижу каждый волос в гриве его лошади, каждую морщинку на его старом лице, каждый бугор и каждую впадину в склоне скалы.

Девушка – ее черные волосы, как принято у варваров, заплетены в косу, перекинутую через плечо, осаживает лошадь перед стариком. Почтительно склонив голову, она тоже ждет, когда он заговорит.

Вздыхаю «Какая жалость, – думаю я. – Теперь уже поздно».

Меня раскачивает из стороны в сторону. Ветер задирает подол и щекочет нагое тело. Я обмяк и плыву в воздухе. Одетый в женское белье.

Касаюсь земли – должно быть, ногами, хотя они занемели и ничего не чувствуют. Осторожно вытягиваюсь во весь рост, во всю длину своего тела, и парю, невесомый, как осенний лист. То непонятное, что обручем сдавило голову, ослабляет хватку. Внутри у меня что-то надсадно скрипит. Я дышу. Мне хорошо.

Затем колпак снимают, солнце бьет в глаза, меня поднимают на ноги, все передо мной плывет, я проваливаюсь в пустоту.

Слово «летать» шепотом пробивает себе дорогу к моему сознанию. Да, верно, я ведь сейчас летал.

Гляжу в голубые глаза Менделя. Он шевелит губами, но я не разбираю ни слова. Трясу головой и понимаю, что мне не остановиться, что я так и буду ею трясти неизвестно сколько.

– Я сказал: сейчас мы покажем вам новый способ летать, – говорит он.

– Он не слышит, – замечает чей-то голос.

– Слышит прекрасно, – говорит Мендель. Снимает у меня с шеи петлю и привязывает ее к веревке, которая стягивает мне руки за спиной. – Поднимите его!

Если держать руки неподвижно, если изловчиться, как акробат, закинуть ногу наверх и зацепиться за веревку, я повисну вниз головой и мне будет не больно – не успеваю об этом подумать, как меня уже начинают подтягивать. Но я слаб, как младенец, руки за спиной тотчас дергаются вверх, и, едва ноги отрываются от земли, страшная боль раздирает плечи, словно мышцы лопаются целыми пластами. Из горла с сухим шорохом осыпающегося гравия вылетает первый горестный вопль. Двое мальчишек спрыгивают с дерева, хватаются за руки и, не оглядываясь, бегут прочь. Кричу снова и снова, мне не погасить этот крик, он исходит из тела, которое сознает, что его покалечили, возможно, навсегда, и громким ревом оповещает мир о своем ужасе. Даже если мне скажут, что все дети города слышат сейчас мои вопли, я не сумею заставить себя замолчать: так давайте же помолимся, чтобы дети не подражали играм взрослых, иначе завтра с деревьев будут свисать гроздья маленьких тел. Кто-то толкает меня, и, согнутый пополам, похожий на огромную старую бабочку, которой булавкой скололи крылья, я качаюсь в дюйме от земли, оглашая воздух воплями и ревом.

– Это он так зовет своих друзей-варваров, – заявляет кто-то. – Это у них язык такой.

В толпе смеются.

V

Варвары разбойничают по ночам. До наступления темноты нужно успеть пригнать всех коз, закрыть ворота на решетку и выставить караульных, которые каждый час выкрикивают время. Говорят, варвары всю ночь бродят вокруг, замышляя убийства и насилия. Детям часто снится, как на окнах раскрываются ставни и свирепые лица заглядывают в комнату. «Варвары пришли!» – визжат дети, и их никак не успокоить. С веревок исчезает белье, из накрепко запертых кладовок пропадает еда. Варвары прокопали под стенами тоннель, говорят горожане; они приходят и уходят, когда им вздумается, забирают, что хотят; от них не скрыться никому. Крестьяне по-прежнему возделывают землю, но выходить в поле по одному не решаются. Работают они без души: варвары затаились и поджидают, говорят они, а как только урожай поспеет, снова затопят поля.

Почему армия не может разделаться с варварами? – сетуют люди. Жизнь на границе нынче совсем тяжелая. Многие говорят, что надо бы вернуться в края отцов, но тотчас вспоминают, что из-за варваров на дорогах стало опасно. Чай и сахар можно теперь купить только из-под прилавка, потому что лавочники утаивают запасы. Те, у кого еды вдоволь, садясь за стол, закрывают двери и окна, чтобы не вызывать зависть соседей.

mir-knigi.org

Три недели назад изнасиловали девочку. Подружки, заигравшись на оросительных каналах, хватились ее только, когда она уже вернулась, вся в крови, онемевшая от ужаса. Много дней подряд она потом молча лежала дома, уставившись в потолок. Как родители ни упрашивали, она им ничего не рассказала. Когда в доме гасили свет, начинала плакать. Подруги утверждают, что с ней это сделал варвар. Они видели, как он убегал в камыши. А то, что он варвар, они поняли потому, что он был очень уродливый. Теперь детям запрещено играть за городскими воротами, а крестьяне, отправляясь в поле, прихватывают с собой дубинки и копья.

Чем выше вздымается волна ненависти к варварам, тем глубже я забиваюсь в свою нору, в надежде, что обо мне не вспомнят. Прошло уже много времени с тех пор, как, развернув знамена, трубя в фанфары, сияя доспехами и гарцуя на своих скакунах, экспедиционные войска отважно двинулись во второй поход, дабы изгнать варваров из долины и преподать им урок, который навсегда останется в памяти их детей и внуков. В город не поступает ни депеш: ни донесений. Радостное возбуждение прежних дней, когда на площади постоянно проводились парады, когда состязались наездники и стрелки, давно улеглось. На смену ему пришли заполонившие город тревожные слухи. Одни говорят, что беспорядки охватили всю границу на протяжении тысячи миль, что северные племена варваров объединились с западными, что армия Империи рассредоточена вдоль границы слишком узкой полосой и вскоре будет вынуждена отказаться от обороны отдаленных приграничных крепостей, вроде нашей, чтобы бросить основные силы на защиту центральных провинций. Другие заявляют, что мы не получаем сообщений с фронта только потому, что наши воины прорвались в глубокий тыл противника и так заняты нанесением смертоносных ударов по врагу, что слать депеши им некогда. Очень скоро, говорят такие, как раз, когда мы меньше всего будем этого ждать, наши ребята вернутся домой, усталые, но с победой, и мы еще поживем в мирное время.

В оставленном охранять город малочисленном гарнизоне царит пьянство, какого я на своем веку не помню; с горожанами военные ведут себя все более вызывающе. Уже были случаи, когда солдаты заходили в лавки, брали, что им нужно, и уходили, не заплатив. И какой смысл хозяину кричать «караул!», если грабят его сами стражи порядка, солдаты Гражданской Охраны? Лавочники ходят жаловаться к Менделю: на период чрезвычайного положения он, в отсутствии ушедшего в поход Джолла, поставлен управлять городом. Мендель кормит их обещаниями. У него лишь одна забота – сохранить свою популярность среди солдат. Но хотя на крепостном валу регулярно устраиваются про верки часовых, хотя дозоры каждую неделю прочесывают берег озера (в поисках притаившихся варваров, ни одного из которых, впрочем, до сих пор не поймали), дисциплина в гарнизоне ослабла.

Меня же, старого шута, который растерял последние крохи авторитета в тот день, когда болтался на дереве в женском нижнем белье и вопил, взывая о помощи; меня, непотребное существо, которое целую неделю, пока не действовали руки, языком, как собака, слизывало пищу с каменного пола – меня тем временем перестали держать под замком. Я сплю в углу гарнизонного двора; я таскаюсь по городу в грязной женской рубашке; когда мне грозят кулаком, я сжимаюсь в комок. Я живу, как голодный пес, воющий у черного хода; весь мой облик убедительно подтверждает, что любой поклонник варваров по натуре животное, – наверное, только поэтому меня и не убили. Моя жизнь постоянно в опасности, я это понимаю. То и дело чувствую на себе тяжелые, неприязненные взгляды; не поднимаю глаз; знаю, что кое-кто, не устояв перед искушением очистить двор, может всадить мне в голову пулю из окна второго этажа.

В город стекаются беженцы – рыбаки из крошечных поселений, разбросанных вдоль реки и по северному побережью озера; говорят они на языке, который никому не понятен, весь свой скарб несут на себе, следом за ними плетутся их тощие собаки и рахитичные дети. Когда появились самые первые из них, вокруг собралась толпа. «Вас выгнали варвары?» спрашивали

горожане, для наглядности корча свирепые рожи и натягивая воображаемые луки. Про имперские войска и про устроенные ими пожары не спрашивал никто.

Сперва этих дикарей жалели, носили им еду и старую одежду, но вскоре они начали лепить свои соломенные хижины к стене городской площади, прямо под ореховыми деревьями, их дети, обнаглев, стали лазать по чужим кухням и воровать, а однажды ночью свора их собак, забравшись в овчарню, перегрызла добрый десяток овец. Отношение к беженцам тут же изменилось. Гарнизон взялся за дело: в собак стреляли, едва те высовывали морду на улицу, а в одно прекрасное утро, пока рыбаки были еще на озере, солдаты разломали их лачуги. Несколько дней рыбаки прятались в камышах. Потом одна за другой соломенные хижины стали вырастать вновь, только теперь уже за чертой города, под северной стеной. Хижины разрешено было оставить, но впускать беженцев в городские ворота стражникам настрого запретили. Постепенно этот запрет ослабел, и сейчас по утрам «речные люди» бродят от дома к дому, торгуя связками рыбы. Иметь дело с деньгами они не привыкли, и все их бессовестно обманывают, а за глоток рома они готовы отдать что угодно.

Все они – худые, с выпирающей куриной грудью. Женщины у них, похоже, вечно ходят беременные; дети – недомерки; лица нескольких девушек отмечены хрупкой волоокой красотой; что до остальных, тоя вижу в них только невежество, хитрость и неопрятность. Ну а что же они видят во мне, если вообще меня замечают? Зверя, глядящего сквозь прутья решетки; грязную изнанку прекрасного оазиса, ставшего их ненадежным убежищем от опасности?

Однажды, когда я дремлю во дворе, на лицо мне падает косая тень, чья-то нога пихает меня в бок, и, подняв голову, я вижу над собой голубые глаза Менделя.

– Хорошо ли мы вас кормим? – спрашивает он. – Уже начали снова толстеть?

Приподнявшись, сажусь у его ног и молча киваю.

– Я спрашиваю потому, что мы не можем кормить вас бесконечно.

Мы пристально глядим друг на друга, и пауза затягивается.

– Когда вы думаете начать работать, чтобы окупить расходы на ваше содержание?

– Я – заключенный, ожидающий суда. Лица, ожидающие суда, не обязаны работать. Таков закон. Заключенных содержат на средства общества.

– Какой же вы заключенный? Вы на свободе и можете поступать, как вам вздумается. – Он ждет, что я клюну на эту грубо подброшенную приманку. Молчу. – Почему вы решили, что вы заключенный, если вас даже нет в наших списках? Вы думаете, мы не ведем списки? Но вас в них нет. Так что вы – человек свободный.

Поднимаюсь и следом за ним иду через двор к воротам. Стражник протягивает ему ключ, и Мендель отпирает замок.

– Вот видите? Открыто.

Мгновенье поколебавшись, прохожу в ворота. Мне очень хочется кое– что узнать. Я гляжу на Менделя, на его ясные глаза, окна его души, на рот, через который обращается к миру живущий в этом теле дух.

mir-knigi.org

– Вы могли бы уделить мне минутку? – спрашиваю я. Мы стоим в проеме ворот; стражник, замерев поодаль, делает вид, что ничего не слышит. – Я давно не молод, – говорю я. – И если раньше меня ждало здесь какое-то будущее, то теперь все рухнуло. – Обвожу рукой площадь, показываю на пыль, которую гонит жаркий летний ветер, разносящий напасти и болезни. – А кроме того, я один раз уже умер, вон на том дереве, правда, вы решили меня спасти. Поэтому прежде, чем я уйду, я хотел бы кое-что понять. Если, конечно, еще не слишком поздно, учитывая, что варвары уже у наших ворот. – Чувствую, как мои губы кривятся в еле заметной насмешливой улыбке, но ничего не могу с собой поделать. Поднимаю глаза и смотрю на пустое небо. – Простите, если мой вопрос покажется вам дерзким, но скажите, пожалуйста, как вам удается заставить себя потом есть? После того, как вы… работаете с людьми? Меня всегда это интересовало… применительно к палачам, экзекуторами им подобным? Нет, подождите! Я еще не закончил. Я с вами вполне искренен, вы даже не знаете, чего мне стоило об этом заговорить, ведь я вас боюсь, как вы сами прекрасно понимаете. Скажите, неужели вам потом не приходится делать над собой никаких усилий, чтобы проглотить кусок? Мне, например, кажется, что после такой работы должно возникнуть желание вымыть руки. И даже этого, вероятно, мало; вероятно, требуется какой-то церковный обряд, некий ритуал очищения… вы не согласны? Чтобы каким-то образом очистить и душу – так, по крайней мере, я себе это представляю. А иначе как можно потом вернуться к обычной жизни – к примеру, сесть за стол и преломить хлеб с родными или с друзьями?

Он поворачивается, чтобы уйти, но я успеваю схватить его за локоть своей похожей на клешню рукой.

– Постойте, – говорю я. – Не поймите меня превратно: я вовсе не проклинаю вас и не виню, я давно уже смирился. Не забывайте, я ведь тоже посвятил жизнь служению закона и знаю, что это такое, знаю, что пути правосудия порой неисповедимы. Я просто стараюсь понять. Я стараюсь понять ту духовную сферу, в которой вы живете. Я пытаюсь представить себе, как вам удается изо дня в день дышать, есть и жить. Но у меня не получается! Вот что беспокоит меня больше всего! Окажись я в его шкуре, говорю я себе, на меня бы ужасно давило ощущение, что я вымазан в грязи Он вырывается и с такой силой бьет меня в грудь, что я охаю и, пошатнувшись, отступаю назад.

– Ублюдок! – орет он. – Старая сволочь! Сумасшедший! Пошел вон! Убирайся отсюда и сдохни в канаве!

– Когда вы думаете отдать меня под суд? – кричу я в его удаляющуюся спину. Но он даже не оборачивается.

Спрятаться мне негде. Да и зачем прятаться? От зари до зари я у всех на виду слоняюсь по площади, брожу вокруг лотков или сижу в тени деревьев. И постепенно, по мере того, как разносится молва, что старый судья отбыл свое наказание и оклемался, люди при моем появлении перестают поворачиваться спиной и не обрывают разговор. Обнаруживаю, что у меня есть и друзья, особенно среди женщин, – те еле скрывают нетерпение выслушать мою версию случившегося. Однажды, бродя по улицам, прохожу мимо дородной жены квартирмейстера, которая развешивает белье.

– Как ваши дела, сударь? – спрашивает она.– Мы слышали, вам пришлось несладко. – Глаза у нее горят от жаркого, хотя и настороженного любопытства. – Может, зайдете выпить чашку чая?

И вот мы с ней уже сидим на кухне, она отсылает детей играть на улицу и, пока я пью чай и сосредоточенно уминаю ее овсяное печенье, искусно делает первые ходы в хитроумной игре,

состоящей из вопросов и ответов.

– Вы так долго ездили, мы уж думали, не вернетесь… А вернулись, и сразу на вас, бедного, столько неприятностей! Как, право, все изменилось! При вас такого непорядка не было. Все эти приезжие, все эти безобразия!

Теперь мой ход, и я вздыхаю:

– Да, они не понимают, что мы, провинциалы, живем по-другому. Весь этот скандал из-за какой-то девушки… – Сжираю еще одно печенье. Над влюбленными дураками всегда смеются, но под конец их прощают. – Я-то считал, что вернуть девушку родным самый разумный поступок, но этим столичным разве объяснишь? – Продолжаю что-то несвязно бормотать; она слушает эту полуправду и, не отрываясь, следит за мной, как ястреб за зайцем; мы оба и виду не подаем, что я – тот самый человек, который болтался на дереве и так громко вопил о пощаде, что своим криком мог разбудить мертвых. – …Но теперь уж будем надеяться, все позади. Вот только боли никак не проходят, – потираю себе плечо, – под старость все ведь заживает очень медленно…

Так я и зарабатываю теперь свой кусок хлеба. Вечером, если я по– прежнему голоден, жду, когда собак свистом отзовут от ворот, и тихонько проскальзываю в гарнизон, где обычно мне удается выклянчить у кухарок остатки солдатского ужина: миску холодных бобов, или роскошные ошметки со дна супового котла, или половину лепешки.

А утром можно пройтись до трактира, облокотиться о нижнюю створку кухонной двери и стоять там, вдыхая все эти замечательные ароматы: благоуханье майорана, дрожжей, тугих колечек нарезанного лука и припахивающего дымком бараньего сала. Повариха – ее зовут Мэй – смазывает сковородки: я смотрю, как ее проворные пальцы ныряют в горшок за жиром и тремя быстрыми Круговыми движениями наносят его ровным слоем на чугунное дно. Я думаю о ее знаменитых пирожках, особенно славятся ее пирожки с ветчиной, шпинатом и сыром, и чувствую, как во рту у меня собирается слюна.

– Ведь сколько народу уже ушло, – говорит она, поворачиваясь к внушительной горке не раскатанного теста. – И передать вам не могу! На прошлой неделе тоже, и довольно много. Даже одна наша девушка, та, худенькая, волосы у нее еще такие длинные, прямые – может, помните. Ушла, вместе со своим парнем. – Она сообщает об этом ровным бесстрастным голосом, и я благодарен ей за ее такт. – Оно и правильно, – продолжает она. – Если уж кто надумал уходить, сейчас самое время: дорога-то долгая, опасная, да и ночи все холоднее. – Она говорит о погоде, об ушедшем лете, о первых приметах зимы и рассказывает обо всем этом так, словно там, г де я сидел, в камере, расположенной меньше, чем в трехстах шагах от порога этой кухни, меня накрывал герметичный колпак, и я не ведал ни о жаре, ни о холоде, ни о сухом ветре, ни о дожде. В ее представлении, как я понимаю, я на какое-то время исчез, потом снова появился, а в промежутке просто не существовал.

Пока она говорит, слушаю, киваю и думаю о своем. Но вот она замолчала.

– Знаешь, – говорю я, – когда я сидел в тюрьме не в новой, а в казарме, просто в маленькой комнате под замком, – я так голодал, что о женщинах даже не думал, только о еде. Жил от кормежки до кормежки. И досыта никогда не наедался. Заглатывал все сразу, как собака, а потом хотел еще. К тому же и от боли очень мучился, то одно болело, то другое: и рука, и плечи, и здесь тоже, – притрагиваюсь к своему распухшему носу, провожу пальцем по уродливому рубцу под глазом: я уже заметил, что многие втайне восхищаются этим шрамом.– А если я иногда и видел во сне женщин, то мне хотелось только, чтобы они уняли мою боль.

Сны, как у ребенка. Но я и не подозревал, что желание может надолго затаиться где-то очень глубоко, а потом вдруг, без предупреждения, вырваться, как река из берегов. Ты вот, например, только что сказала про ту девушку… я ведь был к ней очень привязан, ты, наверно, знаешь, .хотя из деликатности не говоришь… Когда ты сказала, что она ушла, меня будто кто-то ударил, клянусь тебе. Вот сюда, прямо в сердце…

Руки ее ловко снуют по столу, вдавливают ободок чашки в лист теста, откидывают в сторону аккуратные кругляши, собирают и скатывают в комок обрезки. Встречаться со мной глазами она избегает.

– Вчера вечером я к ней заглянул, но дверь была заперта. Я ничего даже и не подумал. У нее ведь много друзей, я никогда не считал, что я у нее единственный. Ты спросишь, что мне от нее было надо? Чтобы пустила переночевать, разумеется; но и не только. К чему лукавить? Все же знают, что старики тянутся к молодым женщинам, чтобы в их объятиях вернуть себе молодость.

Она пришлепывает тесто, месит его, раскатывает: сама еще молодая, она живет со своими детьми под одной крышей со строгой старухой-матерью; о чем взываю я к ней, сбивчиво бормоча про боль и одиночество? Озадаченно вслушиваюсь в собственные излияния. «Ничего не утаивай! – сказал я себе в тот день, когда мои экзекуторы впервые учинили надо мной пытку. – Сжимать зубы – глупо! У тебя нет никаких секретов. Пусть они знают, что перед ними человек из плоти и крови! Не скрывай своего ужаса, кричи, когда будет больно! Упрямое молчание их только раззадоривает, оно лишь подкрепляет их убеждение, что душа не более чем замок, к которому они обязаны терпеливо подобрать отмычку. Дай волю чувствам! Открой свое сердце!» И потому я кричал, и визжал, и говорил все, что приходило в голову. Но сколь коварна подобная логика! Ибо сейчас, прислушиваясь к тому, что несет мой не знающий удержу язык, я слышу вкрадчивые причитания попрошайки.

– Сказать тебе, где я вчера ночевал? – слышу я свой голос. – Помнишь ту маленькую пристройку за амбаром?

И все же еда для меня – предмет наибольшего вожделения, с каждым днем оно овладевает мною сильнее. Я хочу снова быть толстым. Голод не отпускает ни днем, ни ночью. Я просыпаюсь оттого, что в животе у меня зияет пустота, и изнемогаю от нетерпения скорее начать свой ежедневный обход, постоять возле ворот гарнизона, вдыхая слабый, сырой запах овсянки, дождаться, когда мне вынесут пригоревшие оскребыши; я заискиваю перед детьми, упрашивая сбросить с шелковицы горсть ягод; я перегибаюсь через заборы, чтобы стащить пару персиков; я брожу от порога к порогу, неудачник, жертва любовного безумия, правда уже исцелившийся и готовый с улыбкой принять любую подачку – кусок хлеба с вареньем, чашку чая, а в обеденное время, возможно, даже миску похлебки или тарелку с луком и бобами, ну и, конечно, в любое время фрукты: абрикосы, персики, гранаты – богатые плоды щедрого лета. Ем я, как едят нищие: накидываюсь на еду с таким аппетитом, так подчищаю все до последней крошки, что любо-дорого смотреть. Неудивительно, что день ото дня я потихоньку возвращаю к себе расположение моих сограждан.

А как я умею льстить, как искусно я подлизываюсь! Уже не раз для меня готовили специальное, особо вкусное угощенье: кто – баранью отбивную, зажаренную со сладким перцем и чесноком, кто – кусок ветчины и помидор на хлебе с ломтиком козьего сыра. Когда хозяйки не возражают, я в благодарность за кормежку охотно ношу воду или дрова, хотя силы у меня уже не те. Если же в городе я всех обошел, – а я должен вести себя осмотрительно, чтобы не быть в тягость моим благодетелям, – всегда можно заглянуть в лагерь рыбаков и помочь им чистить рыбу. Я уже выучил несколько слов на их языке, своим появлением я не

вызываю здесь никаких подозрений, они знают, каково живется нищему, и делятся со мной тем, что едят сами.

Я хочу снова быть толстым, даже толще, чем прежде. Хочу, чтобы живот, когда его поглаживаю, отзывался довольным бульканьем, хочу, чтобы подбородок утопал в подушках жира и чтобы при ходьбе у меня колыхалась грудь. Я хочу жить простыми удовольствиями. Я хочу (праздные мечты!) навсегда забыть, что такое голод.

Войска ушли в поход почти три месяца назад, и от них до сих пор нет известий. Зато страшных слухов хоть отбавляй: поговаривают, что солдат заманили в пустыню и истребили всех до одного; что втайне от нас войска отозвали для защиты центральных провинций, а приграничные города бросили на произвол судьбы, и варвары в любую минуту могут играючи прибрать их к рукам. Каждую неделю наиболее благоразумные покидают город, двигаясь на восток: они объединяются по десять – двенадцать семей и трогаются в путь, чтобы, как принято теперь это называть, «погостить у родных, пока все не образуется». Они уходят, ведя на поводу вьючных лошадей, толкая перед собой тачки, взвалив на спину узлы, и даже собственных детей нагружают, как мулов. Один раз я видел, как в длинную низкую четырехколесную телегу впрягли овцу. Лошадей в городе уже не купишь. Те, что уходят – те жены и мужья, что до утра шепчутся в постели, строя планы на будущее, а потом закрывают свои прогоревшие лавки и мастерские, – умнее других. Они оставляют свои уютные дома, запирают их «до возвращения» и на память берут с собой ключи. Уже назавтра их дома разорены солдатами, мебель переломана, полы загажены. Если замечают, что кто-то готовится уйти, к нему относятся с растущей неприязнью. Таких людей публично оскорбляют, бьют или безнаказанно грабят. И теперь некоторые семьи исчезают среди ночи: подкупленные стражники открывают им ворота, и они бредут на восток до первой или второй придорожной корчмы, где ждут, пока наберется достаточно большой отряд беженцев, идти с которым не так опасно, как в одиночку.

В городе бесчинствует солдатня. На днях на площади провели сборище с факелами, чтобы заклеймить «трусов и предателей» и подтвердить преданность масс Империи. МЫ ОСТАЕМСЯ – таков нынешний лозунг верноподданных граждан; он намалеван на стенах по всему городу. В тот вечер я стоял в темноте с краю огромной толпы (остаться дома не хватило мужества никому), слушал, как тысячи глоток громко и угрожающе скандируют эти слова, и по спине у меня бежал мороз. После сборища солдаты возглавили шествие по улицам. Они вышибали двери, били окна, подожгли чей-то дом. До поздней ночи на площади продолжался пьяный разгул. Сколько я ни глядел по сторонам, Менделя нигде не увидел. Возможно, гарнизон вышел из повиновения, хотя, возможно, солдатам с самого начала претило, что ими командует какой-то полицейский, и они не принимали его приказы всерьез.

Когда этих солдат, этих чуждых нам по духу людей, набранных в армию из разных уголков Империи, расквартировали в нашем городе, жители встретили их не слишком радушно. «Зачем они нам здесь? – говорили горожане.

– Чем скорее уйдут воевать, тем лучше». Лавочники отказывали им в кредите, матери прятали от них дочерей. Но едва варвары объявились у порога, отношение к солдатам изменилось. И сейчас, когда, судя по всему, эти солдаты наша единственная надежда на спасение, их усердно ублажают. Каждую неделю в городе собирают средства, чтобы закатывать им пиры, жарят на вертеле целых баранов, выставляют бочки рома. Девушки идут с ними по первому слову. Солдатам разрешается все, только бы они остались в городе и защищали нас от гибели. И чем больше с ними носятся, тем наглее они себя ведут. Мы понимаем, что положиться на них нельзя. Зерно в амбаре на исходе, основное войско как в воду кануло – что удержит солдат от дезертирства, когда кончатся пиры и гульба? Разве что тяготы похода в зимних условиях; зима – единственное, на что мы уповаем.

А приближение зимы чувствуется уже во всем. Ранним утром с севера теперь веет холодом; ставни поскрипывают, люди во сне теснее прижимаются друг к другу, дозорные плотнее кутаются в плащи и поворачиваются к ветру спиной. Бывает, что среди ночи я, стуча зубами, просыпаюсь на своем ложе из мешков и больше не могу заснуть. Когда всходит солнце, кажется, что оно с каждым днем отодвигается от нас все дальше; земля успевает остыть еще до заката. Я думаю о маленьких отрядах, вереницей растянувшихся по дороге на сотни миль, об этих людях, возвращающихся на родину, которую большинство из них даже не видели: они толкают перед собой тележки, подгоняют лошадей, несут на руках младенцев, скупо расходуют провизию, а на обочине тем временем копятся брошенные ими вещи: инструменты, кастрюли и сковородки, портреты, часы – словом, все то, что они прихватили из своих разоренных гнезд и надеялись спасти, пока не поняли, что в лучшем случае им удастся спасти лишь собственную жизнь. Через одну-две недели погода станет еще коварнее, и тогда покинуть город рискнут только самые отважные. Не затихая целыми днями, губя все живое на корню, суровый северный ветер будет гнать по широкому плоскогорью волны пыли и обрушивать на беженцев то град, то снег. Мне, в моих рваных обносках и стоптанных сандалиях, не вынести такого долгого перехода, и я даже не представляю себе, что решился бы взять палку, закинуть на спину мешок и тронуться в путь. А если бы и решился, то с тяжелым сердцем. Какая жизнь ждала бы меня вдали от этого оазиса? Жизнь нищего счетовода, который каждый вечер возвращается в темноте в свою комнату, снятую на задворках столицы, постепенно теряет один за другим зубы и изо дня в день слышит, как за дверью презрительно хмыкает хозяйка квартиры? Если бы я примкнул к покидающим город, то, скорее всего, разделил бы судьбу тех стариков, что однажды незаметно сходят с дороги, укрываются где-нибудь под скалой и ждут, когда по телу расползется великий вечный холод.

Бреду по широкой дороге к озеру. Серое небо сливается вдали с серой водой. За спиной в малиново-золотые размывы садится заходящее солнце. Из канав несется первая вечерняя песня сверчков. Этот миря знаю, люблю и не хочу покидать. С молодых лет хожу я этой дорогой в ночное время и ни разу никто на меня не нападал. Как же мне поверить, что ночью возле озера бесшумно скользят тени варваров? Если бы здесь были Чужие, я бы кожей почувствовал их присутствие. Варвары отступили со своими стадами в долины, запрятанные глубоко в горах, и дожидаются, пока солдаты устанут и уйдут из этих мест. А когда это случится, варвары появятся вновь. Они будут пасти своих овец, мы будем возделывать свои поля, они не будут трогать нас, мы – их, и через несколько лет на границе восстановится мир.

Прохожу мимо погубленных полей – их уже расчистили и заново распахали, – пересекаю оросительные каналы и дамбу. Земля становится все мягче; в угасающем свете фиолетовых сумерек я иду по сырой траве, продираюсь сквозь заросли камышей и вскоре шагаю уже по щиколотку в воде. Потревоженные лягушки с коротким всплеском отпрыгивают в стороны; рядом слышу шорох перьев – это болотная птица, готовясь взлететь, припала к земле.

Раздвигаю камыши, забредаю еще глубже, сквозь пальцы ног просачивается липкий густой ил; вода, дольше, чем воздух, удерживающая в себе тепло солнца, противится каждому моему шагу, но потом неизменно поддается. Ранним утром рыбаки выходят сюда на своих плоскодонках, плывут, отталкиваясь шестами, по гладкой поверхности мелководных заливов и ставят сети. Какой простой, спокойный способ добывать себе пропитание! Может быть, мне забросить мое ремесло попрошайки и поселиться у рыбаков в их лагере по ту сторону городской стены, построить хижину из соломы и глины, взять в жены одну из их пригожих девушек, пировать, когда улов обилен, и затягивать пояс потуже, когда в сетях пусто?

Неподвижно застыв в воде, мягко поглаживающей мои икры, я тешу воображение этой заманчивой картиной. Мне ведь понятен смысл подобных снов наяву, видений, в которых я превращаюсь в беспечного дикаря, или бреду по промерзшей дороге в столицу, или плетусь

через пески к руинам, или возвращаюсь в одиночество тюремной камеры, или отыскиваю варваров и предлагаю им располагать мною по собственному усмотрению. Каждое из этих видений – предвестник конца: я думаю не о том, как буду жить, а о том, какой смертью умру. И я знаю, что в обнесенном стенами городе (он уже тает в темноте, до меня доносится дважды повторенный скрипучий сигнал трубы, оповещающий горожан, что ворота закрываются) все думают точно о том же. Все, кроме детей! Дети ни на миг не сомневаются, что старые мощные деревья, в тени которых они привыкли играть, будут стоять вечно; что придет день и, повзрослев, мальчики станут такими же сильными, как их отцы, а девочки – такими же чадолюбивыми, как их матери; что все они будут жить и процветать, вырастят новое поколение детей и состарятся там же, где родились. Почему мы утратили способность жить во времени, как рыбы живут в воде, а птицы – в воздухе; почему мы разучились жить, как дети? В этом повинна Империя! Потому что она создала особое время – историю. Тому времени, что плавно течет по кругу неизменной чередой весны, лета, осени и зимы, Империя предпочла историю, время, мечущееся зигзагами, состоящее из взлетов и падений, из начала и конца, из противоречий и катастроф. Жить в истории, покушаясь на ее же законы, – вот судьба, которую избрала для себя Империя. И ее незримый разум поглощен лишь одной мыслью: как не допустить конца, как не умереть, как продлить свою эру. Днем Империя преследует врагов. Она хитра и безжалостна, своих ищеек она рассылает повсюду. А ночью она распаляет себя кошмарными фантазиями: разграбленные города, тысячи жертв насилия, горы скелетов, запустение и разруха. Галлюцинации безумца, но такое безумие заразительно: я, старик, забредший по колено в болото, поражен этим недугом не в меньшей степени, чем верноподданный полковник Джолл, который в поисках врагов Империи рыщет сейчас по бескрайней пустыне с саблей наголо, готовый разить варваров направо и налево, пока не настигнет и не умертвит того из них, кому судьба уготовила стать последним (ну а если не его, то, возможно, его сына или еще не родившегося внука), а затем вернется в столицу, чтобы, взбежав по бронзовым ступеням к воротам Летнего Дворца, вскочить на шар, увенчанный фигурой вздыбившегося тигра, символ вечного господства, и услышать, как товарищи по оружию, столпившись у подножья лестницы, кричат «ура» и палят из мушкетов в воздух.

Ночь безлунна. В темноте неуверенно отыскиваю дорогу назад, возвращаюсь на сухую землю и, закутавшись в плащ, засыпаю прямо на траве. Продрогнув до костей, выныриваю из водоворота путаных. снов и открываю глаза. Красноватая звездочка на небе почти не сдвинулась с места.

Когда я приближаюсь к лагерю рыбаков, внезапно начинает лаять собака; к ней тотчас присоединяется другая, и ночь взрывается шумом: лай, тревожные крики, испуганный визг. Растерявшись, кричу во весь голос: «Ничего не случилось!» – но меня не слышат. Беспомощно останавливаюсь посреди дороги. Мимо, к озеру стремглав проносится какой-то человек; затем на меня с разбегу натыкается чье-то тело – женщина, мгновенно понимаю я; от ужаса она коротко охает в моих объятьях, потом вырывается и исчезает. Злобно рыча, подступают собаки: одна цапает меня за ногу, раздирает кожу и отскакивает назад – вскрикну вот боли, верчусь волчком. Яростный лай берет меня в кольцо. За стеной к общему хору присоединяются городские псы. Пригибаюсь и кручусь на месте, ожидая следующего нападения. Воздух взрезают медные вопли труб. Собаки заливаются еще громче. Медленно переставляя ноги, шаг за шагом двигаюсь в сторону рыбачьего лагеря, пока на фоне неба вдруг не проступают контуры хижины. Откидываю заменяющую дверь циновку и проскальзываю в тепло пропахшего потом жилища, где всего несколько минут назад еще спали люди.

Шум вокруг стихает, но в лагерь никто не возвращается. Спертый воздух хижины нагоняет дремоту. Я рад бы заснуть, но меня все еще будоражит эхо того мягкого столкновения на дороге. Моя плоть, лишь на мгновение соприкоснувшаяся с этим телом, до сих пор хранит на себе его отпечаток, который бередит меня, как царапина. Мне даже страшно подумать, на что

я способен: ведь с меня станет вернуться сюда завтра при свете дня и, по– прежнему изнемогая от сладких воспоминаний, расспрашивать всех подряд, кто же столкнулся со мной в темноте, а узнав, вовлечь эту девушку или женщину в очередную, еще более глупую эротическую авантюру. Безрассудству мужчин моего возраста нет предела. И оправдывает нас лишь то, что сами мы не оставляем никакого отпечатка на девушках, которые проходят через наши руки: извилистые окольные пути нашего желания, наши возведенные в ритуал ласки, наши слоновьи восторги быстро забываются, – стрелой умчавшись в объятья молодых, сильных, напрямик идущих к цели мужчин, чьих детей они будут носить под сердцем, девушки в тот же миг выбрасывают из памяти наше неуклюжее топтанье, призванное изобразить любовный танец. Наша любовь не оставляет следов. Кого будет помнить та, другая девушка с лицом, размытым слепотой: меня, в моем шелковом халате, в моей комнате с приглушенным светом, с флакончиками духов и благовонных масел – меня, с моими унылыми ласками, или того хладнокровного в черной стеклянной маске, который от давал приказания и вдумчиво определял тональность рвущейся из нее боли? Чье, как не его лицо в красных отблесках раскаленного железа стало последним, что увидела она в нашем мире? И хотя при одной этой мысли меня даже сейчас передергивает от стыда, я обязан спросить себя: «Скажи, в те минуты, когда ты лежал, прижавшись головой к ее ногам, когда ты гладил и целовал ее изуродованные щиколотки, не закрадывалось ли в самый потайной уголок твоей души сожаление, что ты не можешь запечатлеть в этой девушке свой след так же глубоко?» Как бы сердечно ни отнеслись к ней соплеменники, на ее долю уже не выпадет обычного женского счастья: за ней не будут ухаживать, ее не возьмут в жены – она на всю жизнь помечена клеймом, отдавшим ее в собственность чужаку, и если кто-то все же пригреет ее, то разве что поддавшись смешанному с похотью чувству грустной жалости, той жалости, которую она распознала и отвергла во мне. И неудивительно, что она так часто засыпала, неудивительно, что чистить картошку доставляло ей больше радости, чем лежать в моей постели! Едва я в тот день замедлил шаги и остановился перед ней возле гарнизонных ворот, она, должно быть, ощутила, как ее обволакивают миазмы обмана: зависть, жалость и жестокость – все укрылось под личиной желания! В моих ласках она чувствовала не порыв страсти, а усердное стремление заглушить страсть! Я ведь помню ее оценивающую улыбку. С самого начала она поняла, что я лишь притворяюсь соблазнителем. Она слушала мои речи, потом прислушивалась к голосу своего сердца и, поступая по его подсказке, была права. Если бы у нее нашлись тогда для меня нужные слова! «Ты все делаешь не так, должна была сказать она и отвести мои руки. – Если хочешь узнать, как надо, спроси своего приятеля с черными стеклами». А потом, чтобы я не отчаивался, могла бы добавить: «Но если ты хочешь любить меня, то должен отвергнуть его и поучиться у кого-нибудь другого». Скажи она это и пойми я ее, будь мне дано ее понять; поверь я ей, будь мне дано ей поверить, возможно, я не мучил бы себя целый год маловразумительными и тщетными попытками искупить вину.

Ибо, хотя мне нравилось думать иначе, я вовсе не был этаким добродушным любителем удовольствий, прямой противоположностью холодному и жестокому полковнику Джоллу. я был олицетворением лжи, которой Империя тешит себя, когда в небе ни тучки, а он – та правда, которую заявляет Империя, едва подуют грозные ветра. Я и он – две ипостаси имперского правления, не более того. Но в отличие от Джолла я бездействовал: затерянная в глуши граница, тихий городок, пыльная жара лета, тележки с абрикосами, долгие сиесты, обленившийся гарнизон, гуси и утки, что из года в год то прилетают, то улетают, то взмывают ввысь, то опускаются на ослепительную неподвижную гладь озера – вот и все, что представало моему взору, и я говорил себе: «Потерпи, скоро он уедет, скоро вернется покой: наши сиесты станут еще длиннее, сабли еще больше пожелтеют от ржавчины, дозорный начнет тайком убегать с башни, чтобы ночевать с женой; кирпичный постамент под нашей мортирой обветшает и развалится, среди его обломков будут сновать ящерицы, а из жерла пушек будут вылетать совы; линия, обозначающая на имперских картах нашу границу, выцветет, потеряет

четкость – ив конце концов нас благополучно забудут». Обольщаясь этими надеждами, я в очередной раз свернул не туда и выбрал дорогу, которая казалась верной, а на деле завела меня в самое сердце лабиринта.

И опять я во сне двигаюсь к ней по заснеженной площади. Вначале просто иду. Но затем ветер, набрав силу, вздувает мой плащ, как парус, я растопыриваю руки и мчусь вперед в облаке вихрящегося снега. Ноги не касаются земли, лечу все быстрее и с высоты резко устремляюсь вниз, на одинокую фигурку в центре площади. «Если она сейчас не обернется, то не успеет отскочить!» – думаю я. Открываю рот, чтобы криком предупредить ее об опасности. Тихий скулящий вой, едва достигнув моих ушей, обрывается – ветер уносит его в небо, как клочок бумаги. Я вот-вот упаду на нее: готовясь к неизбежному столкновению, сжимаюсь, но она вдруг оборачивается. В оставшийся короткий миг вижу ее лицо, по-детски чистое, дышащее здоровьем, сияющее улыбкой; во взгляде ни тени тревоги. Мы сталкиваемся: ударяюсь животом о ее голову и, подхваченный ветром, тут же отлетаю прочь. Этот удар словно невесомое прикосновение бабочки. Облегченно вздыхаю, меня переполняет радость. «Выходит, зря я так за нее беспокоился!» – думаю я. Оглядываюсь, хочу снова ее увидеть, но все поглотила снежная белизна.

Мокрые поцелуи обслюнявили мне рот. Плююсь, трясу головой и открываю глаза. Собака, только что лизавшая меня в губы, пятится и виляет хвостом. Сквозь циновку в хижину просачивается свет. Выползаю за порог. Заря окрасила небо и воду в одинаковый нежно-розовый цвет. Озеро, где я уже привык каждое утро видеть тупоносые рыбацкие лодки – пусто. И лагерь, посреди которого я сейчас стою, тоже пуст.

Плотнее закутываюсь в плащ и, пройдя мимо главных ворот – они еще закрыты, – дохожу до северо-западной башни, где почему-то не вижу ни одного дозорного; затем поворачиваю назад, к озеру, и, срезая дорогу, иду через примыкающие к дамбе поля.

Из-под ног выскакивает заяц и, петляя, убегает прочь. Провожаю его взглядом, пока, сделав широкий круг, он не скрывается за спелой пшеницей.

Впереди, ярдах в пятидесяти от меня, посреди тропинки писает маленький мальчик. Косясь краешком глаза в мою сторону, он сосредоточенно следит за дугой своей струйки и выгибает спину, чтобы последним усилием брызнуть как можно дальше. Затем, не успел еще его золотистый след рассыпаться в воздухе, мальчик внезапно исчезает – мелькнувшая в зелени смуглая рука утянула его в камыши.

Я останавливаюсь там, где миг назад стоял он. Но вижу лишь колыхающиеся верхушки камышей, сквозь которые блестит солнце, ослепительный шар, всплывший еще только до половины.

– Можете выходить, – говорю я почти шепотом. – Вам нечего бояться.

– Замечаю, что вьюрки облетают камыши стороной. Я уверен, что меня слышат, по меньшей мере, тридцать пар ушей.

Поворачиваюсь и иду обратно, к городу.

Ворота открыты. Вооруженные до зубов солдаты прочесывают рыбачий лагерь. Вместе с ними от лачуги к лачуге бегает разбудившая меня собака: хвост трубой, язык высунут, уши насторожены.

Один из солдат поддевает перекладину, на которую повесили вялиться связки выпотрошенной,

подсоленной рыбы. Скрипнув, перекладина грохается на землю.

– Не смейте! – кричу я и убыстряю шаг. Лица некоторых солдат мне знакомы, я запомнил их с той поры, когда меня целыми днями мучали во дворе.

– Не делайте этого! Рыбаки не виноваты!

С нарочитой небрежностью все тот же солдат подходит к самой большой хижине, наваливается на торчащие из-под соломы жерди и пытается приподнять крышу. Он налегает изо всех сил, но крыша не поддается. Я видел, как возводят эти, казалось бы, хрупкие лачуги. Их строят так, чтобы они устояли под ветром; в какой не отважится взлететь птица. Каркас крыши привязан к столбам ремнями, продетыми в клинообразные пазы. Сорвать крышу можно, только разрезав ремни.

– Дайте я объясню, что вчера случилось, – упрашиваю я солдата. – Было уже темно, я проходил мимо, на меня залаяли собаки. А рыбаки перепугались и от страха потеряли голову, вы же их знаете. Наверно, решили, что пришли варвары. И сбежали на озеро. Они прячутся в камышах, я их только что там видел. Нельзя же наказывать их из-за такого глупого недоразумения.

Он меня даже не слушает. Приятель помогает ему залезть на крышу. Балансируя на двух жердях, он каблуком пробивает соломенную кровлю. Я слышу, как на пол хижины плюхаются куски глиняной обмазки и сыплется солома.

– Перестаньте! – кричу я. Кровь стучит в виски. – Они не сделали вам ничего плохого! – Хочу ухватить его за ногу, но не дотягиваюсь. Я в таком бешенстве, что мог бы сейчас свернуть ему шею.

Кто-то оттесняет меня – это приятель солдата, тот, что помогал ему залезть на крышу.

– А ну давай, катись отсюда, – бурчит он. – Катись, кому говорят! Хочешь сдохнуть – найди место подальше.

Слышу треск: жерди под соломой проломились. Солдат на крыше раскидывает руки и проваливается вниз. Происходит это молниеносно: вот он только что стоял, изумленно вытаращив глаза, а в следующий миг его уже нет, осталось лишь повисшее в воздухе облачко пыли.

Циновка в дверном проеме сдвигается вбок, и, осыпанный с ног до головы рыжей пылью, он выбирается из хижины, держа навесу сцепленные руки.

– Тьфу ты, черт! – ругается он. – Зараза! Черт! Его товарищи заливаются смехом.

– Ничего смешного! – орет он. – Я себе палец отшиб, язви его в душу! – Зажимает ушибленную руку между колен.– Болит, чтоб ему! – Он пинает хижину ногой, и я снова слышу, как внутри на пол падают куски глины. – Дикари вонючие! Надо было всех сразу к стенке и расстрелять… вместе с их дружками!

Глядя поверх меня, глядя сквозь меня, решительно отказываясь меня видеть, он гордо шагает прочь. Проходя мимо последней хижины, срывает со входа циновку. Украшавшие ее бусы рассыпаются: красные и черные ягоды, высушенные дынные семечки летят дождем. Стою посреди дороги, дожидаясь, пока меня перестанет бить гневная дрожь. Я думаю сейчас о молодом крестьянине, которого как-то раз привели ко мне еще в те дни, когда гарнизон был в моем ведении. Судья из далекого городка, откуда был родом этот парень, за кражу кур

приговорил его к трем годам службы в армии. Пробыв в нашем гарнизоне всего месяц, он пытался дезертировать. Его поймали и привели ко мне. Соскучился по матери и сестрам, объяснил он. «Мы не можем поступать, как нам вздумается, – наставлял его я. – Все мы подчиняемся Закону, который стоит выше любого из нас. И тот судья, который отправил тебя сюда, и я, и ты – все мы в подчинении у Закона». Со связанными за спиной руками он стоял между двумя бесстрастными конвоирами, тупо глядел на меня и ждал, когда я вынесу приговор. «Я понимаю, ты считаешь несправедливым, что тебя накажут за добрые сыновьи побуждения. Тебе кажется, ты прекрасно разбираешься, что справедливо, а что – нет. Нам всем так кажется». В ту пору сам я нисколько не сомневался, что всегда и везде, любой из нас – будь то мужчина, женщина, ребенок, а может, даже и старая несчастная кляча, приводящая в движение мельничное колесо,– понимает, что такое справедливость: любое существо приходит в этот мир, принося с собой воспоминания о справедливости. «Но мы живем в мире законов, – растолковывал я этому бедняге, – в мире, далеком от изначального совершенства. И изменить его мы не можем. Мы – падшие созданья. Всем нам, каждому без исключенья, доступно лишь поддерживать установленные законы, не допуская, чтобы понятие справедливости истерлось из нашей памяти». Прочитав ему эту лекцию, я вынес приговор. Парень принял мое решение без звука, и конвоиры увели его. Помню,

как стыдно бывало мне в подобные дни. Я возвращался из суда в свою квартиру, садился в качалку и, забыв об ужине, просиживал в темноте весь вечер, пока не приходило время лечь спать. «Когда человек страдает от несправедливости, свидетели его страданий обречены страдать от стыда», – говорил себе я. Но лицемерное утешение, заложенное в этой мысли, не возвращало покоя моей душе. Не раз у меня возникало искушение подать в отставку, порвать с чиновничьей жизнью, обзавестись огородом и выращивать овощи на продажу. Но ведь тогда, думал я, страдать от стыда судейской службы назначат кого-то другого, и ничего не изменится. Поэтому я продолжал выполнять свои обязанности, пока однажды ход событий не распорядился моей судьбой по-иному.

Двух этих всадников замечают поздно, только когда они уже скачут через голые поля и от города их отделяет меньше мили. Я – один из тех многих, что немедленно устремляются за ворота приветствовать героев: ведь все мы сразу же узнали развевающееся над ними зелено-золотое батальонное знамя. Затерявшись среди возбужденных, бегущих наперегонки детей, шагаю по свежевспаханному полю. Всадник, скачущий слева, неожиданно оставляет своего спутника, разворачивается и медленной рысью движется к озеру.

Второй же продолжает иноходью приближаться к нам: он сидит в седле очень прямо, руки его разведены в стороны, словно он готовится нас обнять или взлететь в небо.

Я сбиваюсь на бег и бегу что есть сил: сандалии цепляются за комья земли, сердце стучит тяжело и гулко.

Мне остается пробежать еще ярдов сто, когда за спиной раздается конский топот, – три закованных в доспехи солдата галопом проносятся мимо, направляясь к зарослям камышей, где скрылся первый всадник.

Присоединяюсь к толпе, обступившей человека (хотя он очень изменился, я узнаю его), который застыл под гордо реющим знаменем и неподвижно смотрит на город. Он привязан к прочно сколоченному деревянному кресту и только поэтому держится в седле прямо. Вертикальная жердь подпирает спину, а руки прикреплены к поперечине. Над головой у него вьются мухи, челюсть подвязана веревкой, лицо вспухло, вокруг расползается тошнотворный запах – он уже несколько дней как мертв.

Детская ручонка дергает меня за рукав.

– Дяденька, а он что, варвар? – шепотом спрашивает ребенок.

– Нет, – тоже шепотом отвечаю я.

Он поворачивается к другому мальчишке рядом с собой:

– Видишь, я же говорил, – шепчет он.

Подчиняясь своему жребию – никто, кроме меня, как видно, не осмеливается взять на себя столь грустную обязанность, – поднимаю волочащиеся в пыли поводья и сквозь главные ворота, мимо притихших зрителей, доставляю это красноречивое послание варваров на гарнизонный двор, где перерезаю веревки, вынимаю посланца из седла и кладу на землю, чтобы его приготовили к погребению.

Солдаты, погнавшиеся за его печальным спутником, вскоре возвращаются. Легким галопом они пересекают площадь и, спешившись, исчезают в здании суда, откуда городом правит Мендель. Через некоторое время они снова выходят на площадь, но разговаривать ни с кем не желают.

Итак, все предчувствия беды подтвердились, и город впервые захлестнут волной настоящей паники. Лавки забиты покупателями: перекрикивая друг друга, они предлагают бешеные деньги за продовольствие. Некоторые семьи забаррикадировались в домах, заперев вместе с собой кур, уток и даже свиней. Школа закрыта. С улицы на улицу перебегают слухи о том, что орда варваров встала лагерем на выжженных берегах реки в нескольких милях от нас, что штурм города неминуем. Случилось невероятное: армия, так бодро выступившая из города три месяца назад, больше никогда не вернется. Главные ворота закрыты и на замок и на все засовы. Я умоляю начальника стражи впустить в город рыбаков.

– Они же умрут от страха, – говорю я.

Не отвечая, он поворачивается спиной. На крепостные стены высыпали солдаты, те сорок человек, что призваны встать щитом между нами и гибелью: застыв у нас над головой, они глядят вдаль, поверх озера и пустыни.

Поздно вечером, возвращаясь в пристроенную к амбару кладовку, где я ночую и по сей день, вижу, что мне не пройти. По узкой улочке тянется интендантский обоз, колонна двухколесных повозок: первая везет знакомые мне мешки с семенной пшеницей из городского амбара, остальные ползут порожними. За обозом следует вереница покрытых попонами, оседланных лошадей из гарнизонных конюшен – здесь, как я догадываюсь, и все те лошади, которых солдаты украли или реквизировали за последние несколько недель. Встревоженные шумом, люди выходят из домов и молча наблюдают за этим, без сомнения, давно продуманным отходным маневром.

Прошу впустить меня к Менделю, но часовой у дверей суда хранит каменное молчание, как и все его товарищи.

Как выясняется чуть позже, Менделя в суде нет. Я возвращаюсь на площадь именно в ту минуту, когда Мендель дочитывает народу обращение «от имени Имперского Командования». Отступление, говорит он, лишь «временная мера». В городе оставят «сторожевое подразделение». Ожидается, что «на период зимы боевые действия будут полностью прекращены по всему фронту». Лично он надеется вернуться сюда весной, когда армия

(«предпримет новое наступление». Он хотел бы выразить всем сердечную благодарность за оказанное ему «незабываемое гостеприимство».

Он стоит на одной из пустых повозок между построенными в две шеренги солдатами, которые держат в руках факелы; пока он произносит свою речь, на площадь возвращаются с добычей мародеры. Двое, пыхтя, грузят на телегу красивую чугунную печку, похищенную из чьего-то пустого дома. Другой с торжествующей улыбкой тащит петуха и курицу; черный с золотым отливом петух просто великолепен. Ноги у птиц связаны, и солдат ухватил их за крылья, от злобы птичьи глаза налиты кровью. Кто-то придерживает дверцу печки, и птиц запихивают в духовку. На телеге уже целая гора мешков и бочек из разоренных лавок, грабители прихватили даже пару стульев и небольшой стол. Развернув тяжелый красный ковер, они накрывают им груз и закрепляют концы ковра по углам. Горожане, наблюдая за методично орудующими предателями, покорно молчат, а меня насквозь пронизывают токи бессильной ярости.

Но вот последняя телега нагружена. Ворота отворяют, солдаты садятся на лошадей. В голове обоза кто-то препирается с Менделем.

– Всего час или около того, – настаивает голос. – Через час они будут готовы.

– И речи быть не может, – отвечает Мендель и добавляет что-то еще, но ветер уносит его слова, и я их не слышу.

Какой-то солдат, отпихнув меня, проводит трех навьюченных узлами женщин к последней повозке. Прикрывая лица шалями, они забираются на телегу и кое-как там размещаются. Одна из женщин спускает с рук маленькую девочку и сажает ее на высокую груду мешков. Щелкают кнуты, обоз двигается вперед, натужно сопят лошади, скрипят колеса. В конце колонны двое солдат палками подгоняют дюжину овец. Когда овцы проходят через площадь, в толпе нарастает ропот. Какой-то парень выскакивает вперед, машет руками и громко кричит – овцы врассыпную исчезают в темноте, и толпа с ревом смыкается. Почти тотчас же трещат первые выстрелы. Десятки людей с воплями бросаются в бегство, я вместе с ними бегу со всех ног, и неудавшийся бунт оставляет в моей памяти единственную картину: какой-то мужчина вцепился в сидящую на последней телеге женщину и рвет на ней платье, а маленькая девочка, держа палец во рту, широко открытыми глазами наблюдает за этой сценой. Площадь пуста и вновь погрузилась в темноту, последняя повозка скрывается за воротами – всё, гарнизон покинул город.

Ворота стоят распахнутыми до утра, и отдельные семьи, горстки людей, в большинстве пешком, сгибаясь под тяжестью узлов и свертков, спешат вдогонку за солдатами. А на заре в город беспрепятственно проскальзывают изгнанные рыбаки: они ведут с собой своих худосочных детей, несут на горбу жалкие пожитки, тащат жерди и охапки камышей, готовясь в который раз заново приступить к строительству жилья.

Дверь моей старой квартиры открыта. В комнатах несет затхлостью. Здесь давно не убирали. Застекленные витрины – мои коллекции камней, птичьих яиц и древностей, найденных в пустыне среди руин, – исчезли. Мебель в большой гостиной сдвинута к стене, ковра на полу нет. В малой гостиной, похоже, ничего не тронуто, но занавеси и драпировки отдают кислым душком плесени.

В спальне одеяло откинуто тем же движением, каким его обычно откидываю я, и потому кажется, будто, кроме меня, никто здесь никогда не ночевал. А вот запах грязного белья непривычен.

Ночной горшок под кроватью. наполовину полон. В шкафу валяется скомканная рубашка: на воротничке изнутри коричневая полоса, под мышками желтые пятна. От моей одежды не осталось и следа.

Сняв с кровати подушки и простыни, растягиваюсь на голом матрасе, ожидая, что ко мне подберется ощущение некоей неловкости, оттого что дух чужого человека еще блуждает среди рожденных им запахов и беспорядка. Но не испытываю ровным счетом ничего: в комнате все мне по-прежнему знакомо. Прикрываю рукой лицо и чувствую, как меня убаюкивает дремота. Да, возможно, мир, каков он есть, отнюдь не иллюзия, не кошмар, посещающий нас в ночи. Возможно, он – действительность, в которую мы неизбежно возвращаемся каждое утро, и не можем ни забыть о ней, ни избавиться от нее. Но все равно, мне, как и прежде, трудно поверить, что конец близок. Понимаю, что вломись варвары сейчас в эту комнату, я умру в постели, так и не поумнев, наивный и несведущий, как дитя. И потому мне, пожалуй, гораздо больше подошла бы смерть в чулане, где варвары схватили бы меня в тот миг, когда, набив рот, я воровато выскребал инжирное варенье из последней банки; мою отрубленную голову бросили бы на кучу других голов посреди городской площади, и на моем лице так и осталось бы виноватое недоумение и обида на историю, которая взбаламутила застывшие воды времени в нашем оазисе. Каждому своя смерть. Одни встретят ее, прячась в выкопанном под погребом тайнике, зажмурив глаза и прижимая к груди драгоценности. Другие умрут на дороге, засыпанные первыми метелями. А некоторые – таких будет немного, – возможно, умрут, отбиваясь от врагов вилами. Разделавшись с нами, варвары подотрутся городскими архивами. Мы умрем, так и не сумев извлечь для себя никакого урока. У каждого из нас в глубинах души засело нечто твердокаменное, отказывающееся признать истину. И хотя в городе бушует паника, никто по– настоящему не верит, что мир, в котором мы родились, наш мир безмятежных непреложностей, вот-вот рассыплется в прах. Никто не может смириться с мыслью, что имперскую армию уничтожили люди, вооруженные луками, стрелами да десятком древних ржавых мушкетов, люди, которые живут в шатрах, никогда не моются, не умеют ни читать, ни писать. Но кто я такой, чтобы глумиться над живительным волшебством иллюзий? Чем еще скрасить эти последние дни, как не грезами об избавителе, что явится с мечом, разгонит незримую вражью силу, простит наши ошибки, совершенные от нашего имени другими, и подарит новую возможность построить рай на земле? Лежу на голом матрасе и сосредоточенно пытаюсь перевоплотиться в пловца, который размеренно и неустанно плывет сквозь время, материю более инертную, чем вода, зеркально гладкую, безбрежную, бесцветную, лишенную запаха, сухую, как бумага.

VI

Иногда по утрам на полях появляются свежие следы копыт. Сторож рассказывает, что среди путаницы кустов, огораживающих дальний конец распаханного клина, он видел темную тень, которой, как он клянется, за день до этого там не было и которая день спустя снова исчезла. Рыбаки не отваживаются выходить на промысел до рассвета. Их ежедневный улов теперь так ничтожен, что они живут впроголодь.

За два дня мы совместными усилиями, держа оружие под рукой, собрали пшеницу с удаленных от озера полей, со всех тех клочков земли, которые не были затоплены. Доля каждой семьи составляет меньше четырех чашек зерна на день, но и это лучше, чем ничего.

И хотя возле озера, как и прежде, слепая лошадь вращает колесо, наполняющее большой бак, откуда вода по трубе подается в город для поливки садов, мы понимаем, что трубу в любую минуту могут перерезать, и потому уже начали рыть колодцы прямо в городе.

Вняв моим призывам, горожане вскапывают свои огороды и сажают там побольше

морозоустойчивых корнеплодов. «Главное – любым способом продержаться до конца зимы, – объясняю я. – А весной нам, конечно, подвезут продовольствие. Кроме того, после первой же оттепели мы можем посеять просо– скороспелку».

Школа по-прежнему закрыта, и детям поручается ловить крохотных красных рачков, которыми кишат мелководные соленые заливы в южной части озера. Эту добычу мы коптим и прессуем в брикеты, каждый весом около фунта. У рачков неприятный маслянистый вкус; обычно их едят только рыбаки; но чутье подсказывает мне, что уже к середине зимы любой из нас почтет за счастье сожрать крысу или таракана.

По всей длине северной стены мы развесили на колышках шлемы и воткнули в землю копья. Два раза в час мальчишка, на которого возложена эта обязанность, проходит вдоль парапета и слегка меняет положение каждого шлема. Тешим себя надеждой, что эта хитрость обманет зоркие глаза варваров.

Завещанное нам Менделем «сторожевое подразделение» состоит из трех солдат. Они поочередно несут караул возле запертой двери суда, в городе на них никто не обращает внимания, и общаются они только друг с другом.

Всеми мерами по спасению города руковожу я. Никто не возражает. Борода у меня подстрижена, хожу во всем чистом, и, по сути дела, я вернул себе полномочия, которых лишился год назад с прибытием Гражданской Охраны.

Нам необходимо срочно запасаться дровами, но не находится ни одного смельчака, готового отравиться на берег реки в обгоревший лес, где рыбаки, если им верить, обнаружили следы недавней стоянки варваров.

Просыпаюсь от громкого стука во входную дверь. На пороге человек с фонарем – обветренный, изможденный, запыхавшийся, в длиннополой солдатской шинели, которая ему велика. Когда он видит меня, глаза его округляются от изумления.

– Кто вы такой? – спрашиваю я.

– А где унтер-офицер? – Тяжело дыша, он старается заглянуть мне за спину.

Время – два часа ночи. Городские ворота открыли, чтобы впустить полковника Джолла: его карета стоит посреди площади, оглобли лежат на земле. За каретой укрываются от колючего ветра несколько солдат. Со стены глядят вниз дозорные.

– Нам нужны свежие лошади, провизия, фураж, – говорит мой ночной гость. Быстрым шагом обгоняет меня, подходит к карете, открывает дверь и докладывает:– Унтер-офицера в городе нет, ваша милость. Он уехал.

В окне кареты успеваю увидеть выхваченное лунным светом лицо Джолла. Он тоже меня увидел: дверь захлопывается, и изнутри щелкает задвижка. Вглядываюсь сквозь стекло и различаю его фигуру в дальнем темном углу: он сидит отвернувшись, шея его напряжена. Барабаню пальцами по стеклу, но он не поворачивается. Подручные полковника оттесняют меня.

Брошенный из темноты камень ударяется о крышу кареты.

На площадь прибегает еще один человек из свиты Джолла.

mir-knigi.org

– Там ничего нет, – задыхаясь, сообщает он. – В конюшнях пусто, они не оставили нам ни одной лошади.

Солдат, только что выпрягший взмыленных рысаков, злобно чертыхается. Второй камень пролетает мимо кареты и чуть не попадает в меня. Оба камня брошены сверху, со стен.

– Знаете что, – говорю я, – вы замерзли и устали. Поставьте лошадей в конюшню, а сами идите в казарму, поешьте и расскажите нам, что случилось. Мы три месяца не получали никаких вестей. Этот сумасшедший, если ему так хочется, может сидеть в карете хоть до утра – вы-то тут при чем?

Но они слушают меня вполуха: голодные, изнуренные, более чем с избытком выполнившие свой долг, доставив этого жандарма из логова варваров целым и невредимым, они о чем-то шепчутся, потом начинают снова запрягать в карету двух обессиленных лошадей.

Я гляжу на смутно белеющее в темноте пятно, именуемое полковником Джоллом. Мой плащ хлопает на ветру, я дрожу – не только от холода, но и от еле сдерживаемого гнева. Меня терзает желание разбить стекло, сунуть руку в дыру и, чувствуя, как ее зазубренные края цепляются за кожу и раздирают плоть этого человека, вытащить его из кареты, швырнуть на землю и топтать до тех пор, пока он не превратится в месиво.

Дернувшись, словно мои кровожадные мысли обдали его брызгами, он неохотно поворачивается. Потом боком передвигается по сиденью ближе к окну и смотрит на меня сквозь стекло. Лицо у него какое-то голое, вылинявшее: то ли виноват лунный свет, толи причина в усталости. Я гляжу на его высокие бледные залысины. Воспоминания о мягкой материнской груди, о том, как рвалась из рук бечевка первого запущенного им бумажного змея, соседствуют в сотах этого черепа с воспоминаниями об извращенных жестокостях, за которые я его ненавижу.

Он смотрит на меня в окно, его взгляд рыщет по моему лицу. Неужели и он теперь обязан подавить в себе желание протянуть руку, схватить меня за шиворот и вонзить мне в глаза осколки стекла?

Я знаю, что сказать ему в назиданье, я давно продумал эти слова. Произношу их очень отчетливо и наблюдаю, как он читает по моим губам.

– Притаившегося в нас зверя мы должны натравливать только на самих себя, – говорю я и в подтверждение киваю головой. Киваю несколько раз, чтобы смысл дошел до него полностью. – Но не на других. – Повторяю, показывая пальцем сначала на себя, потом на него. Он следит за моим ртом, его узкие губы шевелятся: возможно, он повторяет за мной, а может быть, просто передразнивает меня, не знаю. Еще один камень, увесистей прежних, похоже, кирпич, раскатисто грохочет по крыше кареты. Джолл вздрагивает, лошади шарахаются.

Кто-то мчится бегом через площадь.

– Поехали! – кричит он на ходу. Отталкивает меня и локтем стучит в дверь кареты. Руки у него заняты, он прижимает к груди с десяток лепешек. – Надо ехать! – снова кричит он. Джолл отодвигает задвижку, солдат вываливает хлеб в карету. Дверь с шумом захлопывается. – Скорее! – Карета тяжело трогается с места, скрипят рессоры.

Хватаю солдата за плечо:

– Постой! Никуда тебя не пущу, пока не расскажешь, что случилось?

– Сами, что ли, не видите? – кричит он, отбиваясь кулаками.

Руки у меня до сих пор не окрепли: чтобы он не ускользнул, притягиваю его к себе вплотную.

– Объяснишь, тог да отпущу, – задыхаясь, обещаю я.

Карета тем временем ползет к воротам. Два конных солдата уже проехали под аркой; другие, у которых нет лошадей, со всех ног бегут следом. Из темноты в карету летят камни, со стен сыплются крики и проклятья.

– Что я должен объяснить? – тщетно пытаясь вы рваться, спрашивает солдат.

– Где все остальные?

– Ушли. Разбрелись. Кто куда. Я не знаю, где они. Мы боялись, что и сами заблудимся. Идти всем вместе было невозможно. – Видя, что его товарищи исчезают в темноте, он вырывается упорнее. – Отпустите! – Он всхлипывает. Сил у него, как у ребенка.

– Сейчас отпущу. Как же случилось, что варвары вас одолели?

– Мы замерзали в горах! Мы дохли с голоду в пустыне! Хоть бы кто предупредил, как все будет! Они с нами не воевали – просто завели в пустыню, а сами исчезли!

– Кто «они»?

– Ну, они… варвары! Они заманивали нас все глубже и глубже, мы никак не могли их догнать. Они ловили тех, кто отставал, по ночам срезали привязь и разгоняли наших лошадей, а на открытый бой не вышли ни разу!

– Так, значит, вы не выдержали и повернули домой!

– Да!

– Думаешь, я поверю?

Солдат глядит на меня со злым отчаянием.

– Зачем я буду врать? – кричит он.– Мне бы только не отстать от своих, а больше ничего не надо! – Ему удается вырваться. Прикрывая голову руками, он опрометью выбегает за ворота и растворяется в темноте.

На площадке, отведенной под третий колодец, работа остановилась. Часть землекопов разошлась по домам, остальные стоят и ждут указаний.

– В чем дело? – спрашиваю я.

Они показывают на кучу свежей земли: сверху лежат кости – кости ребенка.

– Наверно, здесь была могила, – говорю я. – Хотя странно, что выбрали такое место. – Мы стоим на пустыре, в проходе между тыльной частью казармы и южной стеной города. Кости – старые, в них впиталась рыжая охра глины. – Ну и что вы решили? Если хотите, можем копать не здесь, а подальше.

mir-knigi.org

Они помогают мне спуститься в яму. Высовываясь из нее по грудь, стою на дне и соскребаю землю с торчащей из стены челюсти.

– А вот и череп, – говорю я. Но в ответ они показывают мне череп, который вырыли вместе с костями.

– Вы под ногами посмотрите, – говорит их старший.

В яме темно, ничего не видно, но, царапнув по дну мотыгой, натыкаюсь на что-то твердое: пальцы подсказывают, что это – кость.

– Так не хоронят.– Он садится на корточки у края ямы. – Свалили всех вместе, одного на другого, и так они здесь и лежат бог знает сколько лет.

– Да, – говорю я. – Пожалуй, здесь рыть не стоит.

– Конечно, – кивает он.

– Надо эту яму закопать, и будем рыть другую, ближе к стене.

Он молчит. Протягивает руку и помогает мне вылезти наверх. Остальные тоже молчат. Мне приходится самому скинуть кости назад в яму и при сыпать их землей, только после этого люди берутся за лопаты.

Во сне я опять стою в той же яме. Земля на дне сырая, из нее сочится темная вода, ноги у меня увязают, вытаскиваю их каждый раз медленно и с усилием. Шарю под водой, ищу кости. Рука выуживает оторванный угол джутового мешка: черный, прогнивший, он трухой сыплется сквозь пальцы. Снова копаюсь в жидкой грязи. Вилка – погнутая и заплесневевшая. Мертвая птица – попугай. Держу его за хвост, грязные перья отогнулись вниз, намокшие крылья обвисли, глазницы пусты. Разжимаю пальцы, и попугай проваливается в воду – ни всплеска, ни брызг. «Вода отравлена, – думаю я. – Надо об этом помнить и не пить отсюда. Трогать рот правой рукой мне теперь тоже нельзя».

С тех пор как я вернулся из пустыни, я еще ни разу не спал с женщиной. И сейчас, совсем не ко времени, мое мужское естество вдруг начинает бунтовать. Я плохо сплю и каждое утро просыпаюсь возбужденный. Но никаких желаний у меня нет. Лежу на смятых простынях и тщетно надеюсь, что выросшая из моего тела ветка поникнет. Вызываю в памяти образ девушки, той, что много ночей подряд спала со мной на этой кровати. Вижу, как босиком, в короткой рубашке она стоит передо мной и ждет, когда я начну ее мыть: одну ногу она уже поставила в таз, рукой опирается о мое плечо. Намыливаю ее крепкие икры. Она задирает рубашку на голову. Намыливаю ее бедра; потом откладываю мыло в сторону, притягиваю девушку к себе, трусь лицом о ее живот. Я чувствую тепло воды, запах мыла, тяжесть ее рук. Погруженный в воспоминания, прикасаюсь к себе пальцами. Но в ответ ничто не отзывается. Ощущение такое же, как если бы я взял себя за запястье: да, это часть моего тела, но отвердевшая, застывшая, не способная жить самостоятельной жизнью. Все мои старания безуспешны, потому что я ничего не испытываю. «Просто устал»,– говорю я себе.

Битый час сижу в кресле, дожидаясь, когда это нелепое состояние пройдет. Наконец одеваюсь и выхожу из дома.

Ночью все повторяется сначала: опять из меня торчит эта стрела, указующая неизвестно куда. Снова Мысленно рисую себе разные картинки, но снова не чувствую никакого отклика.

– Попробуйте молочный корень с хлебной плесенью, – советует лекарь.

– Должно подействовать. А если не поможет, придете еще раз. Вот вам молочный корень. Его нужно размолоть, подлить теплой воды и смешать с плесенью. По две ложки перед едой. На вкус очень неприятно, очень горько, но не беспокойтесь, вреда не будет.

Плачу ему серебром. Медь теперь никто не берет, разве что дети.

– Но вы мне объясните, – говорит он, – зачем вам, сильному, здоровому мужчине, убивать в себе желание?

– Желание тут ни при чем, отец. Это у меня что-то вроде раздражения. Воспалилось и затвердело. Как при ревматизме.

Он улыбается. Я в ответ тоже улыбаюсь.

– Во всем городе они, наверно, только вашу лавку и не разграбили, – замечаю я. На самом деле это даже не лавка, просто маленькая ниша под навесом, где стоят рядами пыльные склянки, а по стенам развешаны коренья и пучки сушеных трав – средства, которыми он пользует горожан вот уже пятьдесят лет.

– Да, меня они не тронули. Намекнули, что для моего же блага мне лучше уйти из города. «Варвары отрежут тебе кое-что, зажарят и съедят», – прямо так и сказали, слово в слово. А я сказал: «Нет уж. Я здесь родился, здесь и помру. Никуда, – говорю, – отсюда не уйду». А теперь вот они сами удрали, и без них, скажу я вам, много лучше.

– Верно.

– Вы все же попробуйте молочный корень. Не поможет, приходите снова.

Пью горькую смесь и ем как можно больше салата-латука – говорят, он лишает мужской силы. Но все это делаю без особой веры в успех – то, что со мной творится, требует иного толкования, догадываюсь я.

Раз уж такое дело, заглядываю к Мэй. Трактир закрыли, посетителей нынче мало; Мэй теперь ходит в гарнизон помогать матери. Застаю ее в кухне, когда она укладывает своего малыша в кроватку, придвинутую поближе к плите.

– До чего мне нравится эта ваша старая большая плита,– говорит Мэй.

– Так долго не остывает. И тепло от нее такое мягкое.– Она заваривает чай; мы сидим за столом и смотрим, как рдеют за решеткой угли. – Даже не могу угостить вас ничем вкусным, говорит она. – Солдаты всю кладовку обчистили, почти ничего не осталось.

– Пойдем ко мне наверх, – прошу я. – Может, оставишь ребенка здесь?

Мы с ней старые друзья. Много лет назад, еще до ее второго замужества, она часто наведывалась ко мне вечерами.

– Лучше возьму его с собой, – решает она, – а то еще проснется здесь один.

Жду, пока она запеленает ребенка, потом поднимаюсь по лестнице, пропустив ее вперед: еще молодая, но уже отяжелела, бедра расплылись, раздались. Стараюсь вспомнить, хорошо ли мне с ней тогда было, но ничего не вспоминается. В те годы мне было хорошо с любой женщиной.

Она укладывает ребенка на подушки в углу спальни и тихо воркует над ним, пока он снова не засыпает.

– Это только на одну-две ночи, – говорю я. – Скоро и так все кончится. А пока надо жить.

Она скидывает панталоны, топчется на них, как лошадь, потом идет ко мне в одной рубашке. Задуваю лампу. То, что я сейчас сказал, оставило в душе грустный осадок.

Принимая меня, она вздыхает. Трусь щекой о ее щеку. Рука находит ее грудь; она накрывает мою руку своей, гладит мои пальцы, потом убирает их.

– У меня там чуток натерто, – шепчет она. – После малыша.

Я еще обдумываю, что бы сказать, когда вдруг чувствую, что уже опустошен, но ощущение приходит откуда-то издалека, еле уловимое, будто слабый отзвук толчков, всколыхнувших землю в другой части света.

– Это у тебя, кажется, четвертый ребенок? – Мы лежим рядом под одеялом.

– Да, четвертый. Один, правда, умер.

– А что его отец? Хоть помогает?

– Когда уходил, оставил немного денег. Он ведь с войском ушел.

– Не волнуйся, вернется непременно. – Чувствую спокойную тяжесть прильнувшего ко мне тела. Знаешь, я очень привязался к твоему старшему, – говорю я. – Когда я сидел в тюрьме, он приносил мне еду.– Какое-то время мы лежим молча. Голова у меня начинает кружиться. Вынырнув из сна, успеваю услышать конец стихающей в горле трескучей рулады – стариковский храп.

Мэй садится в постели.

– Я все же пойду, – говорит она. – В такой большой квартире мне не заснуть, всю ночь что-то скрипит. – Расплывчатым пятном она двигается по комнате, одевается, берет на руки ребенка. – Можно, зажгу лампу? Боюсь, в темноте с лестницы упаду. А вы спите. Утром принесу вам завтрак – пшенную кашу, если, конечно, не возражаете.

– Я так даже очень ее любила, – говорит она. – Мы все ее любили. Никогда слова поперек не скажет, что ни попросишь, все сделает, хотя ноги сильно ее донимали, я знаю. Приветливая была. И пошутить с ней можно было, посмеяться.

Я опять словно кусок дерева. Она усердствует вместе со мной: ее большие руки гладят меня по спине, сжимают мои ягодицы. И – будто далеко за морем вспыхнула и тотчас погасла искра.

Ребенок тихонько пищит. Она высвобождается и встает с кровати. Большая, голая, расхаживает взад-вперед по лужице лунного света, держит младенца на руках, похлопывает его, баюкает.

– Сейчас заснет,– шепчет она.

Я и сам уже засыпаю, когда чувствую, как прохладное тело снова укладывается рядом со мной и губы тыкаются мне в плечо.

– А о варварах я думать не хочу. Жизнь и так слишком коротка, чтоб еще тревожиться, что будет завтра.

На это мне сказать нечего.

– Тебе со мной не нравится, – говорит она. – Я же вижу, со мной ты удовольствия не получаешь. Ты все время где-то далеко.

Жду, что она скажет еще.

– Она вот то же самое говорила. Что ты будто не с ней, а далеко. Она не могла тебя понять. Не понимала, чего ты от нее хочешь.

– Даже не подозревал, что вы с ней так откровенничали.

– Я ведь часто сюда приходила, на кухню, конечно. Вот мы друг дружке и рассказывали, о чем душа болит. Она, бывало, расплачется и все плачет, плачет… Очень она с тобой мучилась. Ты сам-то хоть знал?

Ее слова будто приоткрывают дверь, из которой на меня дует ветер безысходного отчаяния.

– Тебе не понять, – хрипло говорю я. Она пожимает плечами. – В этой истории много такого, о чем ты не знаешь, – продолжаю я, – и о чем она не могла тебе рассказать, потому что сама тоже не знала. Я не хочу сейчас об этом говорить.

– А меня и не касается.

Мы молчим и думаем – каждый по-своему – о девушке, которая спит в эту ночь далеко отсюда, под россыпью звезд.

– Кто знает,– говорю я,– может быть, когда прискачут варвары, среди них будет и она. – Рисую себе эту картину: во главе отряда всадников она въезжает в открытые ворота, сидит в седле прямо, глаза сверкают; их предтеча, их проводник, она показывает своим товарищам, как куда проехать в этом чужом городе, где она некогда жила. – Уж тогда-то все будет по-другому.

Задумавшись, мы тихо лежим в темноте.

– До чего мне страшно, – говорит она. – Даже подумать боюсь, что с нами будет. Уговариваю себя, мол, обойдется, а пока – день прожила, и ладно. Только иной раз все равно – как представлю себе, что может случиться, от страха руки-ноги отнимаются. Уж и не понимаю, что дальше делать-то. Ни о чем не думаю, только о детях. Что с детьми-то будет? – Она садится в постели. – Что будет с детьми? – в бешенстве кричит она.

– Детей они не тронут, – говорю я. – И никого не тронут. – Глажу ее по голове, успокаиваю, крепко прижимаю к себе, и мы лежим так, пока не подходит время снова кормить ребенка.

Внизу, в кухне, ей спится лучше, говорит она. Там среди ночи проснешься, увидишь, как за решеткой угли светятся, и вроде сразу поспокойнее. Кроме того, ей хотелось бы класть ребенка вместе с собой. Кроме того, лучше, чтобы мать не узнала, где она проводит каждую ночь.

Я тоже чувствую, что это была ошибка, и больше к ней не заглядываю. Сплю один и скучаю по запаху тимьяна и лука, пропитавшему кончики ее пальцев. Первые два-три вечера меня томит

тихая, легкая грусть, потом незаметно начинаю забывать.

Стою посреди площади, наблюдаю, как надвигается буря. Небо постепенно выцветает, сейчас оно матово-белое и только на севере подернуто розовым. Красные черепичные крыши поблескивают, воздух начинает светиться; озаренный сиянием, не отбрасывающий ни тени, город в эти последние мгновенья загадочен и прекрасен.

Поднимаюсь на стену. Между бутафорскими воинами стоят люди и глядят вдаль, туда, где на горизонте уже вскипает огромная туча песка и пыли. Никто не произносит ни слова.

Солнце наливается медью. Лодки, все до одной, покинули озеро, птицы замолкли. Ненадолго наступает полнейшая тишина. Затем ее раскалывает ветер.

Спрятавшись в домах, где наглухо закрыты все окна, где двери заложены подушками, где мельчайшая серая пыль, просеиваясь сквозь крышу и потолок, оседает на любой открытой поверхности, затягивает пленкой питьевую воду и хрустит на зубах, мы думаем о существах одной с нами крови, которым спрятаться некуда и которые в подобных обстоятельствах могут лишь встать к ветру спиной и держаться до последнего.

Вечерами, пока не догорят выданные мне на день дрова и пока не надо скорей заползать под одеяло, позволяю себе час-другой посидеть у камина и предаюсь былым увлечениям: чиню, как могу, мои витрины с коллекциями – разбитые и поломанные, они валялись в парке за зданием суда, – снова мудрю над расшифровкой древних письмен на тополиных табличках.

В знак уважения к тем, кто некогда обретался в засыпанных песком руинах, нам, вероятно, тоже следует оставить о себе письменное свидетельство, чтобы люди будущего откопали его из-под обломков нашего города; и если уж писать историю города, вряд ли кто-нибудь справится с этим лучше, чем наш последний городской судья. Но когда, потеплее закутавшись в старую медвежью доху, зажигаю единственную свечку (свечное сало у нас теперь распределяется тоже очень строго), сажусь за стол, кладу рядом кипу пожелтевших документов и начинаю писать, то с удивлением понимаю, что пишу я вовсе не о том, как сложилась история далекого городка на границе Империи, и даже не о том, как населявшие этот городок люди до последнего дня тщились сохранить присутствие духа и целый год жили в ожидании варваров.

«Не нашлось бы ни одного, кто, посетив этот оазис, не пленился бы очарованием здешней жизни, – пишу я. – Мы жили во времени, отмечавшем свой ход веснами и зимами, урожаями, прибытием и отбытием перелетных птиц. Мы жили в единстве со звездами. И уразумей мы, что от нас требуется, мы пошли бы на любые уступки, только бы жить здесь и дальше. Ибо здесь был рай на земле».

Долго смотрю на это выведенное моей рукой прошение о помиловании. Я был бы разочарован, если бы узнал, что таблички, тайне которых я посвятил так много времени, содержат послание столь же уклончивое, двусмысленное и постыдное.

«Может быть, к концу зимы, когда голод и в самом деле вцепится в нас мертвой хваткой, когда мы будем мерзнуть и отощаем или когда варвары и в самом деле встанут у наших ворот – может быть, тогда я наконец отброшу выспренность чиновника, мнящего себя литератором, и начну писать правду», – думаю я.

А еще думаю: «Я стремился жить вне истории. Вне той истории, которую Империя навязывает своим подданным, даже заблудшим. Я ведь вполне искренне не хотел, чтобы бремя имперской истории легло на плечи варваров. Почему же я должен этого стыдиться?»

А еще думаю: «Я прожил год, насыщенный событиями. Но все равно по сю пору наивен, как младенец. И уж если писать послание к потомкам, то я для такого дела гожусь меньше всех. Наш кузнец и тот напишет лучше – вон сколько ярости и отчаянья вкладывает он в каждый удар молота!»

А еще думаю: «Но едва варвары познают вкус хлеба, едва они съедят кусок свежего хлеба, кусок хлеба с вареньем из шелковицы или крыжовника, наш образ жизни покорит их сердца. Они поймут, что больше не могут жить, как прежде, когда их мужчинам было неведомо искусство выращивать нежные злаки, а их женщины не умели творить чудеса с благодатными дарами земли».

А еще думаю: «Когда однажды здесь появятся люди и начнут копаться в руинах, древности, которые они отыщут в пустыне, заинтересуют их гораздо больше, чем любое оставленное мною послание. И совершенно справедливо». (Рассудив так, целый вечер одну за другой покрываю таблички слоем льняного масла, а потом заворачиваю их в клеенку. Обещаю себе, что, как только ветер уляжется, выйду из города и закопаю их там же, где нашел.)

Ветер стих, и с неба мягко плывут снежинки, кропя черепичные крыши белым. Все утро стою у окна и гляжу на этот первый снегопад. Когда выхожу из дома, снег уже покрыл гарнизонный двор толстым слоем и таинственно похрустывает под ногами.

Посреди площади играют дети: они мастерят снеговика. Осторожно, боясь их напугать, но при этом охваченный неизъяснимой радостью, бреду к ним через снег. Они ничуть не пугаются, они так увлечены, что даже не глядят в мою сторону. Они уже соорудили большое круглое туловище и сейчас катают из снега шар для головы.

– Ну-ка найдите что-нибудь для глаз, носа и рта, – распоряжается командующий ими мальчик.

Снеговику нужны и руки, думаю я, но вмешиваться не хочу.

Дети ставят голову на туловище и втыкают камешки туда, где должны быть глаза, уши, нос и рот. Сверху один из мальчишек водружает свою шапку.

Что ж, совсем неплохой снеговик.

Но я ведь мечтал увидеть другое. Ухожу, чувствуя себя очень глупо – со мной такое бывает теперь часто, – как человек, что давным-давно заблудился, но упрямо тащится по дороге, которая, возможно, не приведет его никуда.

mir-knigi.org